

Георг Эберс

# Слово



Георг Эберс

**Слово**

«Public Domain»

1882

**Эберс Г. М.**

Слово / Г. М. Эберс — «Public Domain», 1882

«— Слово, единственное слово! — прозвучал свежий отроческий голос, и затем раздалось гулкое хлопанье в ладоши и по лесу пронесся веселый смех. До сих пор в ветвях сосен и в мохнатых шапках буков царило глубокое молчание. Теперь же горлица вторила смеху мальчика, а ворон, испуганный хлопаньем, распустил свои черно-сизые крылья и перелетел с одной сосны на другую. В Шварцвальде лишь недавно установилась весна. Шел только конец мая, однако в воздухе было душно, как в июне, и тучи все более сгущались. Солнце стояло уже довольно низко, и вследствие узости долины оно казалось уже совершенно скрывшимся. Обычно в ясную погоду оно в это время дня золотило еще верхушки сосен на высоком гребне гор. Но щебетание птиц более подходило к удушливому воздуху и к надвигавшейся грозе, чем звонкий смех мальчика. Все твари в лесу ощущали, казалось, какую-то тревогу. Но Ульрих еще раз громко рассмеялся и воскликнул, придавив голым коленом пучок сухого хвороста...»

## Содержание

I	5
II	8
III	13
IV	18
V	23
VI	27
VII	30
VIII	34
Конец ознакомительного фрагмента.	41

# Георг Эберс

## Слово

### I

– Слово, единственное слово! – прозвучал свежий отроческий голос, и затем раздалось гулкое хлопанье в ладоши и по лесу пронесся веселый смех. До сих пор в ветвях сосен и в мохнатых шапках буков царило глубокое молчание. Теперь же горлица вторила смеху мальчика, а ворон, испуганный хлопаньем, распустил свои черно-сизые крылья и перелетел с одной сосны на другую.

В Шварцвальде лишь недавно установилась весна. Шел только конец мая, однако в воздухе было душно, как в июне, и тучи все более сгущались. Солнце стояло уже довольно низко, и вследствие узости долины оно казалось уже совершенно скрывшимся. Обычно в ясную погоду оно в это время дня золотило еще верхушки сосен на высоком гребне гор. Но щебетание птиц более подходило к удушливому воздуху и к надвигавшейся грозе, чем звонкий смех мальчика. Все твари в лесу ощущали, казалось, какую-то тревогу. Но Ульрих еще раз громко рассмеялся и воскликнул, придавив голым коленом пучок сухого хвороста:

– Поддай-ка мне, Руфь, вот тот прут, чтобы связать его. Как они высохли и как трещат, только прикоснешься к ним! Из-за одного глупого слова сидеть по целым дням за книгами! Какой вздор!

– Но ведь слово на слово и не приходится, – возразила девочка.

– Слово, слово! И пиф, и паф, и пуф – все это слова! – смеялся Ульрих. – Вот и хворост, когда я его ломаю, все твердит: «кнак» да «кнак», – тоже ведь слово! А Каспарова сорока знает целых двадцать слов.

– Но ведь так сказал отец, – возразила Руфь, складывая сухие сучья. – Он озабочен более подбором подходящих слов, а не зарабатыванием денег. Ты ведь все желал знать, чего он ищет в толстых книгах. Вот я собралась с духом и спросила его, и теперь знаю. Отец заметил, что я удивилась, и улыбнулся в книгу, как во время урока, когда ты, бывало, задашь глупый вопрос, и сказал, что к слову нельзя относиться с пренебрежением и что сам Господь Бог сотворил мир из единого слова. Ульрих покачал головой и спросил, немного подумав:

– И ты этому веришь?

Девочка серьезно ответила:

– Да, ведь это же отец сказал.

В ее ответе звучала твердая, непоколебимая детская вера, и то же чувство отражалось и в ее глазах.

Руфи было лет десять, и она во всех отношениях составляла резкий контраст со своим товарищем, который был года на два, на три старше ее. Он был крепко сложен, и пара больших голубых глаз его смело смотрели из-под белокурых кудрей в мир Божий. Она же была худощава, субтильна, черноволоса и бледнолица. Она была одета в скромное, но выкроенное по-городскому платье; ноги ее были обуты в чулки и башмаки. Он же бегал босиком, и его серая куртка была не менее поношена, чем короткие кожаные панталоны, едва доходившие до колен; но тем не менее он, должно быть, любил франтить, потому что на его плече был приколот бант из алой шелковой ленты. Он не походил на сына крестьянина или лесника: черты его лица казались слишком уж утонченными, а манера держаться – слишком непринужденна и горда.

Последние слова Руфи заставили Ульриха задуматься, но он не отвечал до тех пор, пока не увязал последнюю вязанку хвороста. Тогда он сказал:

– Моя матушка – ты знаешь... В присутствии отца я не смею говорить о ней, иначе он ужасно рассердится. Говорят, что она дурная женщина; но ко мне она всегда была добра, и я очень, очень скучаю по ней каждый день, как ни по ком другом. Когда я был вот такой маленький, матушка много рассказывала мне про одного человека, который искал клады и перед которым разверзались горы, потому что он знал такое словечко. Правда! Вот такое-то словечко и ищет твой отец.

– Не знаю, – вздохнула девочка. – Но, верно, то слово, из которого Бог создал и Землю, и небо, и звезды на небе, было очень большое слово.

Ульрих кивнул, затем бойко вскинул глаза и воскликнул:

– Вот было бы хорошо, если бы он нашел его и сообщил его тебе, а ты бы передала его мне! Я уже знаю, чего я пожелал бы тогда!

Руфь вопросительно взглянула на мальчика, но он, смеясь, воскликнул:

– Нет, этого я тебе не скажу! А чего бы ты пожелала?

– Я? Я пожелала бы, чтобы моя мать снова могла говорить, как другие люди. А ты, ты желаешь себе...

– Ты не можешь знать, что я желаю.

– Нет, знаю. Ты пожелала бы, чтобы твоя матушка снова оказалась в вашем доме...

– Неправда, я об этом и не думал, – возразил Ульрих и, покраснев, уставился в землю.

– Ну так чего же? Скажи. Я не разболтаю!

– Я желал бы быть охотником у графа и выезжать с ним верхом каждый раз, когда он отправляется на охоту.

– Вот тебе раз! Да если бы я была мальчиком, как ты, это и в голову бы мне не пришло. Охотником! Да если найти такое словечко, то ты можешь сделаться всем, чем пожелаешь, – и господином, и знатным графом, и у тебя будут камзолы из разноцветного бархата, и шелковая постель, и...

– И стал бы я тогда ездить верхом на вороном жеребце, и мне принадлежал бы весь этот лес, с оленями и ланями, и показал бы тогда вон тем мещанишкам...

При этих словах мальчик с угрожающим видом вскинул глаза и поднял руку, и только тут заметил, что пошел крупный дождь и гроза разразилась над их головами. Он живо взвалил себе на плечи несколько вязанок хвороста, один из них положил на плечи девочке и быстро стал спускаться с ней в долину. Он не обращал ни малейшего внимания на проливной дождь, на молнию и гром; но она дрожала всем телом. Когда они наконец вошли на ведущую дорогу, она остановилась.

– Да иди же! – крикнул Ульрих и стал взбираться вверх по узкой размытой дорожке, причем из-под ног его посыпались мелкие камни и песок.

– Я боюсь! – испуганно воскликнула Руфь. – Вот опять молния! Боже! Боже! Ай, какой удар!

И она согнулась, как бы пораженная молнией, закрыла лицо руками и опустилась на колени; при этом вязанка хвороста соскользнула с ее плеч на землю. В испуге она прошептала, как будто в состоянии была располагать могучим словом: «Ах слово, слово, доставь меня домой!»

Мальчик нетерпеливо топнул ногой, кинул на девочку взгляд, полный досады и презрения, и вполголоса стал бранить ее. Затем он бросил вниз сначала ее связку, а потом и свои, схватил Руфь за руку и потащил за собой. С великим трудом, не забывая поддерживать свою спутницу, он спустился с крутизны, поднял брошенные вперед связки хвороста, свои и ее, и молча пошел дальше. Наконец, он увидел сквозь дождевую пелену первые городские дома. Девочка вздохнула свободнее, потому что в числе ближайших домов были и дом ее отца, и кузница, принадлежавшая отцу ее спутника.

Дождь еще не переставал лить, но гроза уже миновала. До них явственно доносились звуки колокола, которыми церковный сторож тщился разогнать грозу. Вокруг городка тянулись стена и ров, и только несколько отдельных домов стояли вне черты укреплений. Этот пригород назывался «лобным местом». В нем жили самые бедные люди, палач и всякая голытьба, которые не пользовались правами гражданства. Кузнец Адам тоже принадлежал к числу последних, а отец Руфи, доктор Коста, еврей, должен был довольствоваться и тем, что ему позволяли жить вне городской черты.

На улицах царила тишина. Только дети прыгали по лужам, да старая прачка ставила кадку под водосточную трубу, чтобы собрать водицы. Среди жилья и людей Руфь вздохнула свободнее. Отец ее вскоре вышел к ней навстречу, взял ее за руку, и они вместе с Ульрихом вошли в дом доктора Косты.

## II

В то время как мальчик расставлял мокрые вязанки хвороста возле печки в кухне доктора, монастырский рабочий вводил трех коней под навес, сколоченный близ кузницы Адама. Статный седой монах, приехавший верхом на одной из этих лошадей, грел руки около кузнечного горна. Кузница не была заперта, но несмотря на усиленный стук и зов монаха не появлялся ни кузнец, ни кто либо из его домашних. Адама, очевидно, не было дома, но он не мог уйти куда-нибудь далеко, потому что не только кузница, но и находившаяся при ней жилая комната были открыты.

Отец Бенедикт соскучился и ради развлечения попытался поднять тяжелый кузнечный молот. Хотя он был не из слабых, это ему, однако, едва удалось; а между тем Адам свободно размахивал этим молотом. Да, если бы он сумел так же хорошо управлять своей жизнью, как кузнечным молотом!

Собственно, жить кузнецу пристало вовсе не на «лобном месте». Что бы сказал его отец, если бы дожил до того, чтобы увидеть своего сына поселившимся в этом квартале отверженных!

Монах хорошо знал старого кузнеца, и ему также известно было кое-что и о сыне, хотя, правда, только понаслышке. Но и того, что он знал, было достаточно, чтобы объяснить себе, почему Адам сделался таким нелюдимым, неразговорчивым и мрачным человеком, хотя он, собственно, и в молодости никогда не был, что называется, веселым малым.

Кузница, в которой он вырос, все еще стояла в городской черте, на рынке; она когда-то принадлежала отцу, деду и прадеду Адама. Работала она недурно, к великой досаде многоумных городских старейшин, болтовне которых мешали стуки молота, доносившиеся через плохо вымощенную площадь в зал их заседаний; но зато караулу, помещавшемуся в подвальном этаже ратуши, эта кузница доставляла приятное развлечение.

О том, как Адам попал с рынка на «лобное место», можно рассказать в немногих словах.

Он был единственным ребенком у своих родителей и смолodu стал учиться у отца его ремеслу. Когда умерла мать Адама, старик дал сыну и помощнику родительское благословение и несколько гульденов<sup>1</sup> и отправил его для совершенствования в своем ремесле в чужие края. Адам поехал прямо в Нюрнберг, который старик считал как бы академией кузнечного дела. Там Адам прожил двенадцать лет. Когда, наконец, до него дошло известие, что отец умер и что он стал единственным наследником кузницы, молодой мастер очень удивился тому, что, имея уже тридцать лет от роду, ничего не видел, кроме своего родного городка да Нюрнберга. Правда, в последнем можно было кое-чему научиться. Далее, чем в Нюрнберге, кузнечное искусство нигде не продвинулось.

Адам вообще был тяжел на подъем и, еще будучи ребенком, отличался неподвижностью. Когда работа спорилась, его нелегко было оторвать от, нее, как бы ни было поздно; зато если уж засидится он, бывало, за кружкой пива, то непременно пересидит всех. За работой он был молчалив и совершенно равнодушен ко всему, что вокруг него происходило; в пивной он почти никогда не разговаривал; но тем не менее молодые художники, студенты и резчики охотно принимали в свою компанию внимательного и молчаливого слушателя; его же товарищи по ремеслу только удивлялись, почему разумный, солидный и трудолюбивый шваб чуждался их и почему его больше тянет к молодежи.

---

<sup>1</sup> Гульден (от нем. Gold – золото) – денежная единица, называемая также флорином; в XIV–XVI веках золотая, в XVII–XIX веках серебряная монета Германии, Нидерландов и других соседних с ними стран. Находилась в обращении до 1892 года.



После смерти отца Адаму следовало бы тотчас же вступить во владение наследственной кузницей на рынке, но ему никак не удавалось скоро собраться, и прошло целых восемь месяцев, прежде чем он выбрался из Нюрнберга.

На большой дороге, около Швабаха, Адама, путешествовавшего, разумеется, пешком, нагнал фургон, в котором ехали странствующие артисты, да не простые, а такие, что их могли послушать графы и князья. Их было семеро: отец и четверо сыновей играли на скрипке и на бубне, а обе дочери пели и играли на арфе и на лютне. Старик пригласил Адама занять восьмое, свободное место в повозке. Кузнец выложил несколько пфеннигов и уселся напротив одной из девушек, которую спутники называли Флореттой. Музыканты направлялись в Нердлинген на ярмарку. Кузнецу так понравилось их общество, что он пробыл с ними несколько лишних дней. Когда он наконец расстался с ними, Флоретта заплакала, а он пошел себе своей дорогой, не оглядываясь. Затем он расположился под цветущей яблоней, чтобы отдохнуть и поесть, но завтрак показался ему невкусным, а когда он закрыл глаза, то не мог заснуть и ему представлялась Флоретта. Он стал жалеть о том, что расстался с ней слишком рано, и его одолевало страстное желание увидеть молодую девушку, ее алые губки и роскошные золотистые волосы, которые она не раз расчесывала в его присутствии. Ему хотелось опять услышать ее звонкий смех.

Затем Адам стал раздумывать об одинокой кузнице на тесной рыночной площади, о не менее одинокой квартире при ней и о том, что ему уже тридцать лет и что не мешало бы обзавестись хозяйкой. Да, вот бы такую женушку, как Флоретта! Семнадцать лет, кровь с молоком, веселая и живая! И он уже мысленно видел возле себя в кузнице белокурую головку, которая пролиwała слезы при расставании с ним. Наконец он вскочил и пошел дальше, но не по направлению, к своему родному городу, а по дороге в Нердлинген.

Уже в тот же вечер Флоретта стала его невестой, а через несколько дней – законной женой. Свадьбу свою они отпраздновали среди ярмарочного шума и суеты. Странствующие музыканты, фокусники и комедианты были их свидетелями; в музыке и пестрых нарядах не было недостатка. Простой и рассудительный ремесленник предпочел бы более скромную свадьбу, но Адаму пришлось пройти через это чистилище, чтобы достичь рая.

На следующий день кузнец уехал с молодой женой из Нердлингена. В Штутгарте он потратил часть своих сбережений на покупку разных хозяйственных принадлежностей, не столько для того, чтобы зажать рот разным кумушкам, сплетни которых его мало заботили, сколько для того, чтобы доставить удовольствие своей жене. И все это он повез в свой родной город в виде приданого Флоретты, хотя, в сущности, все ее приданое заключалось в красном с зеленым платье, в лютне и в белой собачке.

И вот Адам зажил в своей кузнице припеваючи. Городские кумушки сторонились его жены, но в церкви они все же посматривали на нее, и она совершенно основательно казалась ему розой среди овощей. Почтенным городским жителям брак молодого кузнеца представлялся чем-то крайне неприличным, но Флоретта, по-видимому, была довольна, а этого было достаточно для него. Когда до истечения года у него родился сын Ульрих, счастье его не знало пределов.

Оно ничем не омрачалось и в течение следующего года. Часто, держа на руке мальчика, а другой обняв жену, он стоял у окна, уставленного цветами, смотрел, как его подручные подковывают лошадь, и думал: «В Нюрнберге мне жилось не дурно, но здесь, с женой и ребенком, живется куда лучше». Когда он однажды вечером сидел в гостинице за кружкой пива и фельдшер назвал жизнь «юдолью плача», он засмеялся ему в лицо и сказал: «Как для кого: для иного она – прелестный сад».

Флоретта, по-видимому, любила своего мужа и с величайшей заботливостью относилась к ребенку. Адам не раз заговаривал о дочке, которая должна походять, как две капли воды, на мать, но дочка не рождалась. Когда маленький Ульрих стал уже бегать и часто отлучаться

из кузницы на улицу, во Флоретте проснулись прежние скитальческие инстинкты и она начала подговаривать мужа, что неплохо было бы бросить их маленький городок и переехать в Аугсбург или Кёльн, где живется гораздо лучше. Но его было трудно сдвинуть с места, и в этом отношении оказалась бессильной даже его любовь к ней. Просьбы и приставания ее становились все более частыми; иногда она до того надоедала ему своими жалобами на скуку и одиночество, что он выходил из себя. Тогда она в испуге убегала в свою комнату и горько плакала. Случалось, однако, и так, что она угрожала ему уйти от него и отыскать своих. Это еще более его раздражало, и он давал ей почувствовать это раздражение. Он был упорен во всем, следовательно, и в гневе своем. Когда он сердился, то сердился не часами, а месяцами, и тут не могли его смягчить ни ласки, ни слезы.

Понемногу Флоретта привыкла сносить без слез недовольство мужа и устроила жизнь по-своему. Ульрих был ее утешением, ее гордостью, ее игрушкой, но все же он не мог наполнить все ее существование. Пока Адам работал за наковальней, она сидела у окошка позади выставленных на подоконник цветов. Стоявшие в карауле солдаты стали смотреть уже не на кузницу, как прежде, а повыше, да и сами господа гласные<sup>2</sup> начали относиться и к кузнице, и к стуку ее молота менее враждебно, чем прежде, так как Флоретта все более и более расцветала благодаря спокойной жизни. Из окрестных помещиков многие стали ковать своих лошадей гораздо чаще, чем было нужно, чтобы только иметь случай лишний раз увидеть красивую женщину.

Чаще всех приезжал граф Фролинген, и Флоретта вскоре научилась отличать топот его жеребца от топота других лошадей и всегда находила какой-нибудь предлог, чтобы спуститься в кузницу, когда он находился там. После обеда она часто ходила гулять со своим ребенком за город и при этом постоянно выбирала дорогу, которая вела к замку графа. Нашлись добрые приятели, которые сочли нужным предостеречь Адама, но тот так на них прикрикнул, что они замолчали. Примерно в это время Флоретта заметно повеселела и часто распевала, как птичка.

Так прошли семь лет. Однажды летом в город прибыл взвод всадников, которые разместились в здании ратуши. Они стали часто бывать в кузнице, так как приходилось чинить то то, то другое из их вооружения. Начальник их, видный, статный мужчина с красивыми усами, стал завсегдатаем в кузнице и очень мило играл с Ульрихом, когда Флоретта приводила туда сына. Наконец взвод ушел, и в тот же день кузнеца позвали в монастырь, чтобы поправить решетку кладовой. Когда он вернулся домой, Флоретта исчезла. «Она убежала с офицером», – говорили соседи, и были правы.

Адам не сделал ни малейшей попытки догнать ее. Но сильную любовь невозможно вырвать из сердца, как воткнутый в землю прут. Она слишком срослась с его сердцем, и искоренить ее совершенно – значило бы разорвать его на части. Хотя он втайне и проклинал ее и называл подлой змеей, но, с другой стороны, он невольно вспоминал, как она была мила, весела и очаровательна, и тогда корни разбитой любви пускали новые ростки, и его взорам представлялись такие чарующие картины, которых он стыдился, как только они исчезали. Над его головой разразилась гроза, и он сразу был перенесен из небольшого кружка счастливых в громадную толпу несчастных.

Говорят, что незаслуженные страдания делают человека лучшим. Может быть, но верно и то, что незаслуженный позор никого не делает лучшим, а в особенности такого человека, как Адам. Он до сих пор, не озираясь ни направо, ни налево, делал то, что считал достойным. Но теперь этот безупречный человек чувствовал себя опозоренным и с болезненной подозрительностью усматривал во всем, что слышал и видел, желание оскорбить его. Следует, впрочем, сказать и то, что почтенные сограждане не упускали случая дать ему понять, какой громадный промах он сделал, введя дочь странствующего музыканта в их достойную среду.

---

<sup>2</sup> Гласные – представители самоуправления города.

Каждый раз, когда Адам выходил из дома, ему казалось – и большей частью безосновательно, – что все встречные подталкивают друг друга и указывают на него пальцами. Дома же он находил только пустоту, печальные воспоминания и ребенка, один вид которого еще более растревал раны его сердца. Он желал, чтобы Ульрих совершенно забыл «змею подколенную», и строго-настрого запретил ему говорить о «мамаше». Но не приходило и дня, чтобы он сам не говорил о ней.

Наконец Адаму стала невыносима жизнь в его старом доме на рынке. Он подумывал о том, чтобы переселиться в Фрейбург или в Ульм, словом, куда бы ни было, лишь бы не в такое место, где бы он мог встретиться с нею. Он скоро нашел покупателя на свой дом, расположенный на таком хорошем месте, уложил вещи, и через два дня должен был уже явиться новый владелец. В это время в его кузницу зашел конский барышник Болц, живший на «лобном месте». Это был старый знакомый Адама, для которого он в течение многих лет подковывал лошадей на несколько сот гульденов. Он пришел проститься с кузнецом, потому что, сколотив порядочное состояние, намеревался перенести свою торговлю в более выгодное место. Узнав о намерении Адама покинуть свой старый дом и кузницу, он предложил ему за бесценок свой дом за городской чертой. Тот сначала улыбнулся, но на другой день все же отправился на «лобное место», чтобы осмотреть дом барышника. Здесь ютился в своих лачугах самый бедный народ. Там стоял у дверей и глупо ухмылялся тряпичник Вильгельм, добродушно относясь к насмешкам и поддразниванию уличных мальчишек; тут жила в жалкой избушке старая метельщица Катерина с большим зобом; в следующих трех старых домишках, обвешанных рваным бельем, жили две семьи угольщиков и фокусник Каспар со своими уродливыми дочерьми, которые занимались зимой стиркой кружев, а летом разъезжали по ярмаркам с отцом, человеком весьма сомнительной репутации, которого Адам в детстве видел выставленным у позорного столба.

В других лачугах жили честные, но крайне бедные лесные рабочие, обремененные многочисленными семьями. Здесь царила нужда и нищета. На всей улице были только два более представительных дома: барышника и еще один, которому место могло быть даже и на городской площади. В этом доме жил еврей Коста, который прибыл лет десять тому назад со стариком отцом и с немой женой из дальней местности в наш городок, да так и остался здесь, потому что его отец опасно заболел, а жена родила девочку. Но граждане не желали иметь еврея в своей среде, и потому ему пришлось поселиться за городом, на «лобном месте». Он купил дом лесника, выстроившего себе новый дом в лесу. Граждане же нашли, что для городской казны может пригодиться взимавшаяся в то время в довольно значительных размерах специальная еврейская подать. Еврей согласился на условия городского совета. Когда вскоре узнали, что он не ведет никакой торговли, а по целым дням сидит за большими книгами и в то же время платит за все чистыми деньгами, то его стали считать алхимиком и чародеем.

Вообще все, что здесь существовало, было жалко и презренно, и когда Адам очутился на «лобном месте», он сказал сам себе, что отныне ему место уже не среди гордых и безупречных. Он сам считал себя опозоренным, а так как ко всему, в том числе и к позору, он относился чрезвычайно серьезно, то находил, что этот жалкий сброд вполне подходящая для него компания. Всякий из них знал, что такое несчастье, а иному приходилось вынести к тому же еще более тяжелый позор, чем выпавший на долю Адама. И, наконец, если бы жизненные невзгоды заставили возвратиться к нему его злополучную жену – тут было для нее как раз подходящее место.

Поэтому кузнец купил дом барышника, при котором имела и кузница. Потребители его произведений найдутся и за городом. И, действительно, ему не приходилось раскаиваться в своей покупке. Старая служанка осталась при нем и хорошо ухаживала за ребенком, который процветал. У него самого работа как-то спорилась на новом месте. Он изредка отправлялся в город для закупки железа или угля, но вообще избегал сношений с гражданами, которые при встрече с ним пожимали плечами и, говоря о нем, указывали пальцем на лоб.

Спустя около года после переселения за город, кузнецу пришлось зайти в харчевню, чтобы повидаться с одним из своих заказчиков. В ней сидели слуги флорингенского графа. Он не обратил на них внимания, но они начали приставать к нему и дразнить его. Некоторое время Адам сдерживался, но когда рыжий Валентин перешел уже всякие границы, он вспылил и сильным ударом кулака повалил его на землю. Тогда остальные скопом навалились на него и потащили в замок своего господина. Там его держали в заключении около полугода, после чего привели его к графу, который освободил его «ради прелестных глаз Флоретты».

С тех пор прошли годы, и Адам все время спокойно проживал со своим сыном на «лобном месте». Он старался избегать общества, но в лице доктора Косты судьба послала ему единственного и верного друга.

### III

Отец Бенедикт видел кузнеца в последний раз вскоре после его возвращения из заключения, встретив как-то близ монастырской исповедальни. Так как этот монах в молодости служил в императорской кавалерии, то на него, несмотря на его духовный сан, было возложено заведование конюшнями богатого монастыря, и он в прежнее время не раз приводил лошадей в кузницу на рынке. Но с тех пор как монастырь поссорился с городом, отец Бенедикт решил ковать лошадей в другом месте. Тут он вспомнил об искусном кузнеце, переселившемся за город, и направился к нему. Они оба обрадовались встрече, и Адам поспешил предоставить свою кузницу и свое искусство в распоряжение монастыря.

– Уже поздненько, Адам, – сказал монах, распуская отсыревший кожаный пояс, который имел обыкновение надевать при верховой езде. – Гроза застигла нас в дороге. Рыжий до того все время пугался грома и молнии, что едва не вывихнул руку конюху Гецу. Он то и дело кидался в сторону, и вот мы никак не могли добраться до вас засветло, а впотьмах и вы с ним не справитесь.

– С Рыжим-то? – спросил кузнец низким, звучным басом и вставил горящую лучину в железное кольцо возле горна.

– Вот именно! Он терпеть не можетковки. А ведь каков конь! Во всем монастыре нет ему подобного. У нас никто не может с ним справиться, но вы... вы в прежние годы... Гм, гм... Вы, однако, тоже не помолодели, Адам. Наденьте-ка шапочку, волосы-то ваши, право слово, порядком поредели, так что лоб уже сливается с затылком! Но рука, рука-то осталась ведь прежняя? Помните, как вы в Родебахе пополам раскололи наковальню?

– Что о том вспоминать, – ответил кузнец вежливо, но решительно. – Рыжего я подкую завтра рано утром, сегодня впрямь поздно.

– Так я и полагал! – воскликнул монах и всплеснул руками. – Вы знаете, мы не в ладах с горожанами из-за мостовой пошрины. Лучше в крапиву, чем в эту проклятую яму! Ведь конюшня ваша достаточно просторна, и у вас, наверное, найдется связка соломы для бедного брата во Христе. Больше мне ничего не нужно, еда у меня с собой.

Кузнец в смущении опустил глаза. Он не любил гостей, и под его кровлей еще никогда не ночевал ни один посторонний человек. Все, что нарушало его одиночество, было ему неприятно. Однако ему совестно было отказать давнему знакомцу, и потому он холодно ответил:

– Я живу один здесь с моим сынишкой, но если вы не взыщете за нашу убогую обстановку, то место для вас найдется.

Монах буквально просиял, словно его пригласили самым радушным образом. Пристроив лошадей и конюха, он последовал за хозяином в находившуюся при мастерской жилую комнату и положил свою суму на стол.

– Вот и закусточка, – сказал он, смеясь, вынимая из сумки жареную курицу и белый хлеб, – а как же быть с вином? Мне после того, как я так промок, необходимо что-нибудь согревающее. Не найдется ли в вашем погребе бутылочки?

– Нет, – сухо ответил было кузнец, но тотчас же, одумавшись, прибавил: – Впрочем... я найду, чем вас угостить.

Он отворил стенной шкаф, вынул бутылку вина и налил монаху стакан. Тот с удовольствием выпил, крикнул и провел ладонью по животу, затем, ухмыльнувшись, уставился на кузнеца своими круглыми глазами и сказал:

– Если такой виноград растет на ваших елях, то я желал бы, чтобы Господь Бог подарил прародителю Ною вместо виноградной лозы елочку. Клянусь всеми святыми, у самого архиепископа в погребах не сыщется такого вина. Дайте-ка мне еще глоточек и скажите, где вы достали эту драгоценность?

– Вино это мне подарил Коста.

– Этот колдун, этот иудей! – воскликнул монах и отодвинул от себя стакан. – А впрочем, – прибавил он полушутя, полусерьезно, – ведь если поразмыслить хорошенько, то ведь и вино, употреблявшееся при священной Христовой трапезе и в Кане Галилейской, и то, которым услаждался царь Давид, тоже когда-то хранилось в еврейских погребах.

Монах, очевидно, ожидал, что Адам встретит его шутку улыбкой или словом одобрения, но бородатое лицо кузнеца оставалось серьезным. И Бенедикт продолжал менее веселым тоном:

– Вы бы тоже выпили стаканчик, хозяин. Вино, если его употреблять в меру, веселит сердце человека, а у вас, по-видимому, не очень-то весело на душе. Я знаю, и вы испытали горе в вашей жизни. Но у всякого свои печали, а вы недаром называетесь Адамом, и ваше горе идет от Евы.

При этих словах кузнец отнял руку от бороды и стал двигать взад и вперед кожаный колпак на своем голом черепе. Он уже собирался резко ответить монаху, когда его взор упал на Ульриха, остановившегося на пороге и с удивлением смотревшего на монаха, так как он никогда не видел ни одного гостя у своего отца, кроме доктора Косты. Мальчик, однако, скоро оправился от неожиданности и поцеловал руку монаха. Тот взял его за подбородок, несколько приподнял голову красивого ребенка, потом взглянул на Адама и воскликнул:

– Рот, нос и глаза у него – матери, но лоб и голова вылиты из той же формы, что и ваши.

Кузнец слегка покраснел и, желая прекратить неприятный для него разговор, обратился к сыну:

– Ты поздно возвратился. Где пропадал так долго?

– Я был в лесу с Руфью. Мы вязали хворост для кухни Косты.

– Как! До сих пор?

– Нет, Рахиль сварила лапшу, и доктор пригласил меня поужинать у них.

– Ну, хорошо, ступай спать. Но прежде отнеси конюху в конюшню что-нибудь поесть, а затем постели чистые простыни на мою постель. Завтра приходи пораньше в мастерскую, нужно будет подковать лошадь.

Мальчик взглянул на отца в раздумье и сказал:

– Я не против, но дело в том, что доктор изменил часы уроков. Завтра он назначил урок рано утром.

– Хорошо, мы справимся и без тебя. Ну, спокойной ночи! Монах слушал их разговор внимательно и с явно заметным недовольством. При этом лицо его приняло суровое выражение. Он некоторое время укоризненно смотрел на кузнеца, затем отодвинул от себя стакан и сказал с явным раздражением:

– Это что же такое, друг Адам? Еврейское вино – это еще куда ни шло. Пожалуй, и лапша, хотя христианскому ребенку и не пристало есть из одного блюда с людьми, предки которых пролили кровь Спасителя. Но как вы, верующий христианин, можете допускать, чтобы неразумный мальчишка учился у проклятого иудея!

– Оставьте это, – сказал кузнец, стараясь положить конец неприятному для него разговору.

Но монах никак не мог успокоиться и продолжал еще громче и решительнее:

– Нет, я этого так не оставлю! Слыханное ли дело! Крещеный христианин посылает своего родного сына в учение к неверному христопродавцу!

– Но послушайте меня, отец Бенедикт...

– Нет, не мне вас должно слушать, а вам меня, вам, взявшему в учителя нечестивца для своего несчастного ребенка. Знаете ли, что это такое? Неслыханный грех, самый тяжкий их грехов! Этого богопротивного поступка вам ваш духовник ни за что не спустит!

– Что за грех, что за богопротивность?! – сердито пророкотал кузнец.

При этих словах кровь бросилась монаху в голову, и он воскликнул угрожающим тоном:  
– Ого, господин кузнец! Смотрите, как бы не вышло худо! Духовные власти знают свое дело. Повторяю вам, не посылайте мальчика к жиду, а то...

– А то? – повторил с усмешкой кузнец и пристально посмотрел в лицо монаху.

Тот еще крепче сжал губы и добавил, немного помолчав:

– А то и вам, и этому бедняге-доктору не избежать справедливого наказания. Урок за урок. Мы за последнее время как-то обабились и уже давно не сожгли – в назидание другим – ни одного хриstopродавца.

Эти слова произвели желанное действие. Кузнец был не из трусливого десятка, но монах пригрозил тем, против чего он чувствовал себя столь же бессильным, как против бури и молнии. Его лицо приняло страдальческое выражение, и, протянув руки к монаху, он воскликнул встревоженным голосом:

– Нет, нет! О себе я не беспокоюсь. Никакие ваши наказания не могут сравниться с теми страданиями, которые я и без того испытываю. Но если вы сделаете что-нибудь с доктором, то я прокляну тот час, в который я пригласил вас переступить мой порог!

Монах с удивлением посмотрел на кузнеца и сказал более мягким голосом:

– Вы всегда шли своей дорогой, Адам, и смотрите, к чему вы пришли? Что, вас заколдовал этот Коста, что ли? И что вас вообще так привязывает к нему? Вы за него испугались больше, чем могли бы испугаться за себя. Никто не должен раскаиваться в том, что пригласил к себе в гости Бенедикта. Образумьтесь, будьте благоразумны, и – Боже мой, ведь мы тоже люди, – и мы тоже можем на кое-что смотреть сквозь пальцы. Разве вы чем-нибудь особенным обязаны доктору Косте?

– Многим, отец Бенедикт, очень многим! – воскликнул кузнец, и в его голосе еще звучал страх, к сожалению, небезосновательный, за своего верного друга. – Выслушайте меня, и после того как вы узнаете, что он для меня сделал, и если у вас не каменное сердце, я уверен, вы не сообщите настоятелю то, что вы здесь видели и слышали. Умоляю вас, не делайте этого! Видите ли, если бы из-за меня с доктором приключилось какое-либо несчастье, из-за меня...

Голос его оборвался, и он дышал так прерывисто, что кожаный фартук его то поднимался, то опускался.

– Успокойтесь, – сказал монах, на этот раз почти ласковым голосом. – Все уладится, все устроится. Садитесь-ка и расскажите, в чем дело, чем таким особенным вы обязаны доктору?

Кузнец, несмотря на это приглашение, остался стоять и принялся рассказывать.

– Я не мастер говорить. Но дело вот в чем. Когда они потащили меня в тюрьму – знаете, из-за Валентина, – мне было так больно и жутко, что этого никто не поймет. Пока я там сидел, Ульрих оставался здесь один и некому было о нем заботиться, потому что нашей старой служанке перевалило за семьдесят, а все свое добро я закопал в безопасном месте, и в доме осталось хлеба да мелкой монеты не более как на три дня. Я все думал о ребенке, только о ребенке, о том, как он здесь умрет от голода и холода. Когда они меня наконец выпустили на свободу и я пошел домой, два часа пути показались мне двумя долгими днями. Что стало с Ульрихом? Найду ли я его в живых? Уже стемнело, когда я добрался до своего дома. Дверь оказалась запертой, и все как будто вымерло. Я стал стучать в двери и ставни, сначала потихоньку, потом все громче и громче, но никто не отзывался. Наконец из соседнего дома вышла старуха Лаура, и от нее я узнал, что моя служанка сошла с ума и была отправлена в больницу, а Ульрих опасно заболел, и его взял к себе доктор Коста. Когда я узнал об этом, то рассердился не меньше, чем вы четверть часа тому назад, и мне стало так стыдно, словно я был выставлен к позорному столбу. Мой сын – у иудея! Тут нечего было долго раздумывать, и я поспешил к дому доктора, увидел свет в окне и заглянул в него. Направо, у стены, стояла кровать, и в ней лежал на белых подушках мой малец. Возле него сидел доктор, который держал в своей руке руку ребенка.

Маленькая Руфь ластилась к нему и понукала его: «Ну, ну, папа!» Он улыбнулся... ведь вы его знаете, отец Бенедикт! Ему тридцать с небольшим лет, и у него такое кроткое, бледное лицо... Он улыбнулся и произнес таким радостным голосом, как будто Ульрих был родной его сын: «Слава Богу, он останется жив». И девочка побежала к своей немой матери, сидевшей у печки и разматывавшей нитки, и воскликнула: «Мама, мама, он выздоровеет! За это ведь я и молилась каждый день о нем Богу». Еврей наклонился над моим ребенком и поцеловал его в лоб... а я – я разжал сжатый было кулак и чуть не разрыдался, как ребенок, и с тех пор, отец Бенедикт, с тех пор...

Кузнец замолчал. Монах же встал, положил свою руку на его плечо и сказал:

– Уже поздненько, Адам. Укажите-ка, где мне лечь. Ведь завтра тоже будет день, а важные решения лучше хорошенько обдумать. Но верно только одно: парень не должен брать уроков у Косты. Пусть он вам лучше помогает завтра ковать лошадей. Поняли, мастер?

Кузнец ничего не ответил; он взял со стола свечку и проводил монаха в ту комнату, в которой обычно спал сам со своим сыном. На его кровати были постланы для гостя чистые простыни. Ульрих давно уже улегся и, казалось, спал.

– У нас нет лишней комнаты для вас одного, – сказал Адам, указывая на спящего мальчика. Но монах приветливо ответил, что ребенок ему нисколько не мешает. После того как кузнец ушел, он стал разглядывать красивое, здоровое лицо Ульриха.

Рассказ Адама несколько взволновал Бенедикта, и он не сразу лег в постель, а задумчиво шагал по комнате, стараясь ступать как можно тише, чтобы не разбудить ребенка.

«Адам имеет полное основание, – размышлял он, – быть благодарным доктору. Да, наконец, почему бы и не быть достойным евреем?»

Монах вспомнил о библейских старцах, о Моисее, Соломоне и о пророках. К тому же разве сам Христос не родился от еврейки, разве святые апостолы Иоанн и Павел, которых он особенно уважал, не вышли из еврейского народа? Наконец он решил, что бедному Адаму пришлось вытерпеть много горя и что к нему следовало относиться снисходительно. Но тем не менее монах находил, что он исполнил только свою обязанность, предупредив кузнеца, а необходимо было раз и навсегда положить конец замеченному им злу. И мог ли еврей научить добру мальчика в эти времена ереси и безверия? Правда, до сих пор в здешних местах, Благодарение Богу, еще не появлялось лжеучение, но тем не менее и тут недавние крестьянские бунты доказали, что крестьяне завидуют могуществу рыцарей, богатству горожан и влиянию духовенства. Он пришел в конце концов к тому заключению, что на этот раз можно быть снисходительным и пощадить иудея – но только при одном условии.

Когда Бенедикт наконец снял рясу и стал искать крючок, чтобы повесить ее, то заметил на выступе печки несколько досок. Он взял одну из них и увидел на ней нарисованный искусной рукой кузнеца эскиз решетки, а на другой – выведенный углем портрет. Последний возбудил любопытство монаха; чтобы получше разглядеть его, он поднес к нему зажженную лучину – и в испуге отскочил, потому что увидел, хотя и довольно грубо намалеванный, но поразительно похожий портрет доктора Косты, которого он хорошо знал в лицо, так как не раз его встречал.

Монах с досадой покачал головой, однако взял портрет в руки и стал пристально рассматривать, бормоча себе под нос какие-то непонятные слова. Когда он затем довольно резким движением поставил портрет на прежнее место, Ульрих проснулся и воскликнул не без гордости:

– Отец Бенедикт, это я сам нарисовал.

– Вот как! – ответил монах. – Мне кажется, что сын благочестивого кузнеца мог бы подыскать себе более подходящие оригиналы. Сейчас спи, а завтра утром вставай пораньше и помогай отцу. Понял?

С этими словами он не особенно нежной рукой повернул мальчика лицом к стене, и мягкого расположения духа, которое вызвал в нем рассказ кузнеца, как не бывало. Слышанное ли



дело! Адам до того сдружился с евреем, что даже позволяет своему сыну рисовать его портрет! Нет, этого нельзя допустить! Он улегся в постель и стал раздумывать над тем, как поступить в этом казусном случае. Но сон вскоре прервал нить его размышлений.

Ульрих встал, как ему было сказано, рано утром, и когда патер при дневном свете снова увидел красивого мальчика и нарисованный им портрет Косты, на него напало точно какое-то наваждение, и он решил уговорить кузнеца отдать Ульриха в монастырскую школу.

## IV

Отец Бенедикт утром был совершенно иным человеком, чем накануне вечером за стаканом вина. Он холодно и сдержанно отвечал на все вопросы кузнеца, пока тот не отправил сына учиться. Перед этим Ульрих помог отцу подковать рыжего жеребца. Ему достаточно было погладить лошадь по глазам и по морде и произнести несколько ласковых слов – и упрямый конь стал кротким, как ягненок.

– Этого парнишку, – говорил кузнец с самодовольной улыбкой, – с малых лет слушались самые необузданные лошади. Бог его знает, в чем тут секрет.

Монах взял эти слова на заметку, потому что у них в монастырской конюшне были еще две лошади с норовом, и практичный патер живо смекнул, что за то, что мальчик получит в школе, он с лихвой оплатит в конюшне.

Когда кузнец закончил работу, монах объявил ему самым благоприятным тоном, что парня следует отдать в монастырь. Ближе к Иванову дню в школе откроется вакансия, и она будет предоставлена Ульриху. При этом патер не преминул указать кузнецу, какое этим оказывается благодеяние и какая для мальчика будет честь получить воспитание в кругу знатных товарищей. Он не забыл также упомянуть, что его там научат и рисованию. О том, выберет ли он затем духовную или светскую карьеру, можно будет поговорить и впоследствии. Мальчику придется решать этот вопрос лишь через несколько лет, причем никто не будет оказывать на него давления.

Таким образом, дело устроится как нельзя лучше. Косту можно было оставить в покое, а сын кузнеца будет избавлен от его зловредного влияния. Монах не допускал никаких возражений. Он поставил ультиматум; или Ульрих будет отдан в монастырскую школу, или капитулу будет выставлено обвинение против доктора Косты. Через четыре недели, в Иванов день – так решил Бенедикт, – кузнец со своим сыном должен явиться в монастырь. У него, вероятно, есть кое-какие сбережения, а времени достаточно, чтобы прилично одеть и обуть мальчика, так как он не должен отличаться по внешности от своих будущих товарищей.

Кузнец во время этого разговора чувствовал себя в положении лесного зверя, все более и более запутывающегося в тенетах охотника, и не решался сказать ни «да» ни «нет». Монах и не настаивал на положительном ответе, но он возвращался домой в сознании, что вырвал молодую душу из когтей дьявола и что в то же время сделал хорошее приобретение для монастырской школы и конюшни. Это веселило его сердце.

Адам остался один у своего горна. В прежнее время он имел обыкновение, когда ему взгрустнется, схватывать большой молот и заглушать свое горе тяжелым трудом. Но сегодня он не прикасался к молоту, потому что сознание своего морального бессилия отнимало у него и физическую силу. Он стоял, понуриив голову, точно надломленный ствол дерева. Ему было бы трудно выразить волновавшие его мысли в определенной форме, но его воображению представлялась опустевшая кузница, в которой он работает один, без Ульриха. Вдруг ему пришла на ум мысль запереть кузницу, взять мальчика за руку и уйти с ним, куда глаза глядят. Но что станет тогда с Костой? И, наконец, где же тогда найдет его неверная Флоретта, если она когда-нибудь вздумает возвратиться к нему? Нет, это не годится.

Ульрих не возвращался. Не отправился ли он на урок к доктору? При этой мысли Адам вздрогнул. Как бы проснувшись от глубокого сна, он протер себе глаза и отправился в свою спальню. Там он снял кожаный фартук, обмыл лицо и руки, надел городское платье, в которое он облачался только отправляясь в церковь или к доктору, и вышел на улицу.

Гроза очистила воздух, и утреннее солнце весело освещало черепичные крыши убогих домишек «лобного места». Его лучи отражались в маленьких круглых окошечках и играли на верхушках деревьев ближайшего леса. Светлая зелень буков составляла приятный контраст

с темной зеленью хвойных деревьев. Но и последние старались не отставать от своих соседей, и молодые побеги их смело могли соперничать яркостью своей зелени с более нарядными листовыми деревьями. Весь лес оглашался веселым пением, щебетанием, стрекотанием. Тысячи цветов, белых и красных, желтых и синих, раскрыли свои чашечки пчелам или распустили звездочки для украшения лесного ковра, или же гордо подняли свои головы над мягкой муравой. После освежающего дождя грибы поспешили выползти из-под земли и сгруппироваться вокруг нарядных мухоморов. Лесной ручей с приятным журчанием ниспадал с утеса и спешил, шлифуя встречавшиеся по дороге камни, в долину. И в воде жизнь, и по сторонам ее жизнь, и над нею жизнь.

На небольшой, окруженной лесом поляне дымится угольная яма. Здесь дышится не так легко, как рядом, в лесу. Там, где природа предоставлена сама себе, она умеет сохранить свою красоту и чистоту, но там, где к ней прикасается человек, первая искажается, а вторая пятнается. Казалось, будто солнце желает яркими лучами своими помешать густому дыму подниматься к небу, и поэтому дым спешит разостлаться по земле. На опушке леса сооружен шалаш, в нем сидит Ульрих и беседует с углежогом. Соседи называют его «висельником Марксом», и его черные лохмотья составляют разительный контраст с праздничным убором природы. У него широкое плоское лицо, рот сильно скривлен, и косматые светло-рыжие, как бы полинявшие волосы так низко спускаются на узкий лоб, что совершенно закрывают его и прикасаются к густым бровям. Из-под бровей едва выглядывают глубоко сидящие глаза; и хотя они смотрят только сквозь узкую щель, образуемую полузакрытыми веками, однако они замечают каждую пылинку. Ульрих мастерит стрелу и то и дело обращается к углежogu с разными вопросами; каждый раз, когда тот собирается отвечать, мальчик громко хохочет, потому что для того чтобы говорить, Марксу приходится каждый раз с весьма комичным подергиванием всего лица привести прежде свой скривленный рот в надлежащее положение.

Сегодня между обоими, столь неравными по возрасту и столь несхожими по внешнему виду товарищами обсуждается нечто весьма важное. Углежог приглашает мальчика снова прийти к нему вечером, в сумерки. Он выследил знатного оленя и наведет его на выстрел Ульриха. Трактирщик справляет на днях свадьбу своей дочери Гретхен, и ему понадобится жаркое для свадебного обеда. Конечно, Маркс мог бы и сам подстрелить оленя; но дело в том, что если станут доискиваться, у кого трактирщик раздобыл оленя, то Марксу можно будет со спокойной совестью показать под присягой, что он не подстреливал оленя, а нашел его в лесу уже подстреленным.

Дело в том, что Маркс слыл в околоте отъявленным браконьером, и не без основания. Самим своим прозвищем «висельник Маркс» он был обязан тому обстоятельству, что однажды уже украшал своей особой виселицу. И вместе с тем он честнейший человек, так как искренне убежден в святости той истины, что вода, лес и пастбище – общее достояние. Этого принципа придерживался и покойный отец его, и им же он сам руководствовался всю свою жизнь. У него нельзя было выбить из головы, что все живущее в лесу принадлежит столько же ему, как и рыцарям, городу или монастырю. Этот оригинальный взгляд причинил ему немало горя в жизни; ему же он был обязан и своим прозвищем, и искривленным ртом. Будучи еще совершенно молодым человеком, он однажды повстречался с отцом нынешнего графа в тот момент, когда только что подстрелил в «составлявшем общее достояние» лесу молодого оленя. Граф велел связать ноги убитого оленя, а Маркса заставил взять узел веревки в зубы и тащить ртом тяжелое животное в гору, до самого графского замка. При этом юноша разорвал себе щеку, и это, конечно, не увеличило его уважения к графу. Когда вскоре после того начался в той местности крестьянский бунт, и Маркс узнал, что крестьяне всюду ополчаются против господ и попов, он присоединился к бунтовщикам<sup>3</sup> и «работал» сначала в отряде Ганса Мюллера

<sup>3</sup> Речь идет о событиях Крестьянской войны 1525 года в Германии.

из Бульгенбаха, а затем Якоба Рорбаха из Бекингена. Он участвовал при разграблении замка Нейенштейн и при взятии замка Вейнсберг; сердце его радовалось при виде того, как вейнсбергский граф был поднят на копы и как знатную графиню Вейнсберг провезли мимо него на навозной телеге в Гейльброн.

Возмущившиеся крестьяне, и вместе с ними Маркс, были уверены, что теперь они сделаются господами, что многовековому гнету будет положен конец, что несправедливая барщина и десятинные налоги будут навсегда отменены. Из двенадцати пунктов<sup>4</sup>, в которых были выражены требования крестьян, углежог особенно хорошо помнил четвертый: «Всякому предоставляется право беспрепятственно ловить лесных зверей, птиц и рыб». Он также толковал по-своему евангельские изречения о том, что беднякам принадлежит Царствие Небесное и что первые сделаются последними. Вожаки, по всей вероятности, мечтали об освобождении народа от невыносимого гнета; но Маркс, как и большинство его невежественных товарищей, сгорали прежде всего желанием отомстить своим вековым мучителям. Никогда еще углежог не ел и не пил так сладко, как в это счастливое для него, но – увы! – столь скоро миновавшее время. Сознание удовлетворенной мести было еще слаще самых сладких яств и вкусных вин; а когда ему, в толпе озлобленных крестьян, удавалось взять какой-нибудь рыцарский замок, и растерянная владелица его молила о пощаде, ему казалось, что он предвкушает блаженство рая. Но недолго продолжалось это блаженство: при Зиндельфингене граф Трухзес фон Вальдбург<sup>5</sup> разбил крестьян наголову, и Маркс, вместе со многими тысячами других, попал в плен. Его и нескольких других вожаков вздернули на виселицу, но только на смех и в виде предостережения остальным, потому что, прежде чем последовала их смерть, их вынули из петли, отрезали указательные пальцы, жестоко высекли розгами и снова обратили в прежнее рабство.

Возвратившись домой, он узнал, что за его участие в восстании у его семьи отняли дом, и она прозябала в величайшей нищете. Отец кузнеца Адама, которому он прежде поставлял уголь, выкупил его дом и дал ему работу; а когда однажды в город явился отряд всадников для розысков участников восстания, он позволил ему скрываться в течение трех дней в своем сарае. С тех пор в Швабии установилось спокойствие, хотя поля, леса, луга и даже вода продолжали составлять собственность дворян.

Маркс был бобылем. Жена его давно умерла, а взрослые сыновья занимались сплавом леса в Майнц, Кёльн и даже в Голландию. Он чувствовал себя многим обязанным кузнецу Адаму и старался по-своему отблагодарить его за это тем, что учил его сына искусству браконьерства и другим не вполне подходящим для благовоспитанного мальчика вещам, но Ульриху это доставляло удовольствие, а Марксу – выгоду. Мальчику уже исполнилось пятнадцать лет, и он был превосходным стрелком. Вместе с тем он старался привить душе и сознанию мальчика свои оригинальные взгляды на равенство людей. Так и сегодня, когда Ульрих ему высказал чуть ли не в сотый раз свои сомнения относительно того, не грешно ли стрелять дичь, принадлежащую графу, углежог, вправив по возможности свой искривленный рот, серьезно ответил:

– Ведь ты же знаешь – лес, вода и луга принадлежат всем.

Мальчик задумчиво уставился в землю и наконец спросил:

– И поля тоже?

– Поля? – переспросил удивленный Маркс.

– Поля? Нет, поля совсем другое дело. – При этом он указал глазами на засеянное им овсяное поле, только что покрывшееся свежей зеленью. – Поля, – продолжал он, – это дело рук человеческих, и они принадлежат тому, кто их возделал; но лес и луга растит Бог, и воду

<sup>4</sup> Двенадцать пунктов – политическая программа восставших крестьян, носившая умеренный характер.

<sup>5</sup> Георг Трухзес фон Вальдбург (1488–1531) – командующий армией союза рыцарей, князей и городов, противостоявшей восставшим в период Крестьянской войны.

он тоже создал на потребу человека. Понимаешь? То, что Бог создал для Адама и Евы, принадлежит всем.

Когда солнце поднялось над лесом, и в последнем раздался крик кукушки, Ульрих вдруг услышал, что кто-то громко, несколько раз кряду позвал его по имени. Он быстро отбросил в сторону стрелу, которую только что выстругал и, поспешно кинув: «Когда стемнеет, Маркс», – побежал в лес, где его ожидала Руфь.

Неторопливо, наслаждаясь прелестным утром, оба они пошли по лесу, вдоль извилистого ручья. Они рвали цветы, чтобы принести домой букет матери Руфи. Она вязала его своими тоненькими, изящными пальчиками; он помогал ей, обрывая слишком длинные стебли. При этом оба они болтали без умолку. Он похвастался ей тем, что патер Бенедикт видел нарисованный им портрет ее отца, тотчас же узнал его и при этом что-то проговорил сквозь зубы. В жилах Ульриха текла кровь его матери, и он, силою воображения, значительно превосходил своих сверстников с «лобного места».

От отца своего, а еще более от доктора Косты, он слышал многое о далеких странах, о королях, героях и великих художниках; от висельника Маркса он узнал, что имеет такие же права, как и всякий другой, – и вот в его глазах венки, которые он плел вместе с Руфью, превращались в королевские короны; шалашик из хвороста, выстроенный ими позади дома доктора, – в блестящий дворец; круглые камешки – в гульденy и дукаты<sup>6</sup>; хлеб и яблоки, которые им давали на завтрак, – в роскошные яства; две табуретки, поставленные ими перед дерновой скамьей, на которой они сидели, – в дорогих рысаков; а сама дерновая скамья – в позолоченную царскую карету. Она была королевой, а он – королем, или же она феей, а он – волшебником.

Когда Ульрих играл с уличными мальчишками, он всегда был предводителем их, но безусловно подчинялся во всем Руфи. Он знал, что доктор – презренный еврей, а Руфь – иудейское дитя; но он знал также, что его отец уважал доктора, а вся обстановка жилища последнего производила на него обаятельное впечатление. Когда Ульрих вступал в его жилище, то ощущал легкую дрожь, будто переступая порог святыни. Ему единственному из всех соседних мальчиков разрешалось входить в этот дом, и он это высоко ценил, так как несмотря на свою молодость отлично понимал, что тихий, добрый, кроткий, но вместе с тем и столь ученый доктор стоял неизмеримо выше тех жалких существ, прозябавших на «лобном месте», которые своими мозолистыми руками добывали свой скудный хлеб и вели отчаянную борьбу за существование. Он считал все возможным для доктора, даже невозможное. Да и сама Руфь представлялась ему чем-то особенным, какой-то замысловатой игрушкой, которой позволяли играть ему, и только ему одному. Случалось, правда, что, когда она чем-нибудь сердила его, он ее обзывал гадкой девчонкой; но, с другой стороны, его несколько не удивило бы, если бы она предстала перед ним прекрасной царицей или жар-птицей.

Когда они приблизились к дому, Руфь села на камень и сложила сорванные цветы на колени. Он присоединил к ним и свои цветы, и, когда был связан большой и красивый букет, она показала его ему, и он нашел его очень красивым. Но она громко вздохнула и сказала:

– А я желала бы, чтобы в лесу росли розы, но не шиповник, а такие розы, какие растут в Португалии: большие, пунцовые и пахучие. Ничего не может быть лучше запаха таких роз.

Вообще всегда в своих мечтаниях и желаниях Руфь уносилась далеко-далеко, и Ульрих невольно следовал за нею. Теперь ее детски-наивное желание напомнило ему о том слове, о котором они говорили накануне, и они снова заговорили о нем. Он признался ей, что из-за этого слова он ночью просыпался три раза. Руфь объявила, что и она много о нем думала, и прибавила:

<sup>6</sup> Дукат (итал. ducalo, от позднелат. ducatus – герцогство) – старинная серебряная, а затем золотая монета, выпущенная впервые сицилийским герцогством Апулия в 1140 году и получившая распространение по всей Западной Европе в качестве самой высокопробной (3,4–3,5 г чистого золота) монеты. Дукат как торговая денежная единица продолжал играть роль вплоть до первой мировой войны.

– Вот если бы теперь кто-нибудь сказал мне это слово, то я знаю, чего бы пожелала: чтобы мы были совершенно одни в целом свете – ты, я, мой отец и моя мать.

– И моя матушка, – присовокупил Ульрих каким-то умоляющим голосом.

– И еще твой отец.

– Да, конечно, и он также, – поспешно сказал мальчик, как бы торопясь исправить какое-то упущение.

## V

Солнце ярко светило в окна домика доктора Косты. Они были наполовину отворены, чтобы открыть весеннему воздуху доступ в комнаты, но занавешены зелеными шторами, чтобы оградить внутренность жилища от посторонних взоров. Обстановка квартиры была очень простая. Стены гостиной были выбелены, и на одной из них висел большой венок из лавандовой травы, запах которой особенно любила мать Руфи. Вся мебель комнаты состояла из стола, двух простых деревянных кресел, покрытой ковром скамейки и нескольких табуретов.

На одном из кресел обычно восседал Адам, когда ему случалось играть с доктором в шахматы. Он еще в Нюрнберге имел случай присмотреться к этой благородной игре; доктор же был основательно знаком с нею и посвятил Адама во все ее тонкости. В первые два года Коста значительно превосходил своего ученика, потом ему приходилось серьезно обороняться, а теперь нередко случалось, что кузнец побеждал ученого, хотя, правда, последний играл гораздо быстрее, а первый непомерно долго обдумывал каждый ход.

Вряд ли когда-либо над шахматной доской соприкасались столь несхожие между собой руки, как красная мозолистая, загрубелая рука кузнеца и нежная, тонкая, изящная рука доктора. Вообще рядом с коренастой фигурой Адама Коста казался тщедушным, хотя он был среднего роста. Не меньший контраст составляли большая белокурая голова Адама и точно выточенное, смуглое лицо португальского еврея. В этот день доктор и кузнец не играли в шахматы, а беседовали долго и серьезно. Доктор встал со своего места и беспокойно ходил по комнате; кузнец же все время оставался в кресле. Было решено отправить Ульриха в монастырскую школу. Адам сообщил также своему другу об угрожавшей ему опасности, и тот сильно взволновался. Он не скрывал от себя размеров ее, и тем не менее ему тяжело было покинуть этот мирный уголок. Адам чувствовал, что происходило в душе доктора, и сказал:

– Вам, я вижу, не хочется уезжать. Но я не понимаю, что удерживает вас здесь, в этом жалком месте.

– Меня удерживает здесь спокойствие, мой друг, спокойствие! – воскликнул Коста. – И, кроме того, я приобрел здесь земельную собственность.

– Вы!

– Да, я. Могила и могилка позади дома палача, вот мое имение.

– Тяжеленько, тяжеленько покинуть их, – заметил кузнец и поник головою. – И все это обрушивается на вашу голову из-за доброты вашей к моему парнишке. Хорошо же мы отплатили вам!

– При чем тут плата? – сказал доктор, и на губах его показалась тонкая улыбка. – Я не жду вознаграждения ни от вас, ни от судьбы. Видите ли, Адам, я принадлежу к бедной общине, которая во всех своих действиях не руководствуется соображением, последует ли отплата за них здесь, на Земле, или же там, на небе. Мы любим добро и высоко ценим его, и творим его по мере сил наших, потому что оно прекрасно. Что люди называют добром? То, что дает душе покой. А что такое зло? То, что тревожит ее. Говорю вам, Адам, у тех, которые стараются делать добро, на душе спокойнее, хотя бы их гнали и преследовали, и травили, и мучили, как диких зверей, чем на душе их могущественных гонителей, творящих зло. Того, кто ищет других наград за сделанное добро, кроме тех, которые заключаются в самом сознании человека, ожидают горькие разочарования. Не вы, не Ульрих, не они гонят меня отсюда, а гонит то вечное проклятие, которое не дает моему народу нигде успокоиться. Это... это... впрочем, пока довольно. Мы еще поговорим в другой раз, завтра.

Оставшись один, Коста сжал руками лоб и глубоко вздохнул. Ему вспомнилась вся прежняя его жизнь, и он нашел в ней рядом с тяжелым горем много хорошего и радостного и с гордостью мог сказать себе, что в нем ни на единый час не ослабевала любовь к добру. Здесь, среди

тихого мира, в скромной домашней обстановке, он провел счастливые годы, и вот снова ему приходилось брать в руки страннический посох и идти, идти, куда глаза глядят, не имея перед собой определенной цели в конце трудного пути. То, что составляло до сих пор его счастье, усугубляло теперь его несчастье. Тащить с собой жену и ребенка, подвергать их всевозможным лишениям – было тяжело, крайне тяжело. Да еще неизвестно, в состоянии ли будет еще раз вынести все это его Лиза, здоровье которой было сильно подорвано.

Он пошел к жене и застал ее в садике позади дома. Она наклонилась над грядкой и вырывала сорную траву. Он ласково окликнул ее; она приподнялась и поманила его к себе.

– Присядем, – предложил он и направился к скамейке у изгороди, отделявшей сад от леса. Там он решился сообщить ей, что им снова приходится отряхнуть прах с ног своих и идти в далекий Божий мир.

В Португалии, на дыбе, Лиза лишилась языка. Только в минуты крайнего возбуждения она в состоянии была произнести, и то крайне невнятно, несколько слов; но Коста выучился читать и по глазам ее. Тяжкие страдания провели глубокую морщину на красивом лбу женщины, и эта морщина также отчасти заменяла ей язык; когда она была спокойна, морщина едва виднелась, но при малейшем волнении или огорчении она углублялась. В этот день ее совсем не было заметно. Белокурые волосы Лизы плотно прилегали к вискам, и вся ее несколько наклоненная вперед фигура напоминала деревце, согнутое бурей и которому недостает сил распрямиться.

– Хорошо! – произнесла она глухо и невнятно, но ее взор блестел радостью, и она показала руками на синее небо над их головой и на окружавшую их зелень.

– Очень, очень хорошо, – согласился он. – Этот прелестный июньский день отражается на твоем милом лице. Ты научилась быть счастливой.

Елизавета закивала и прижала обе руки к сердцу. При этом взор ее красноречиво говорил о том, как она счастлива и благодарна судьбе. На робкий его вопрос, согласна ли она покинуть этот уголок, чтобы подыскать другое, более безопасное убежище, она взглянула на него сначала удивленным, потом тревожным взором и с трудом вымолвила наконец, замахав руками: «Не надо, не надо!» Он поспешил успокоить ее словами: «Нет, нет, пока нам еще ничего не угрожает».

Но она хорошо знала мужа и была очень наблюдательна. Она чужала беду, лицо ее приняло выражение испуга, морщина на лбу углубилась, она уставила на него вопросительно-умоляющий взор, а уста ее могли произнести только отрывистые слова: «Что? что?»

– Успокойся, – упрямился он ее. – Не следует портить себе настоящее ради неведомых еще бед, которые может принести нам будущее.

При этих словах Лиза прижалась к нему, крепко обняла его обеими руками, а сильное биение ее сердца и встревоженное выражение лица ясно показывали, как ее пугает мысль о новых странствиях и о новых сопряженных с этими странствиями бедствиях. Он вспомнил все, что она вытерпела ради него; он страстно схватил ее руки, и ему показалось, что ему будет очень легко умереть вместе с нею и что невозможно снова толкнуть ее на чужбину, бросить на произвол неизвестности. Он поцеловал ее в широко раскрытые от испуга глаза и воскликнул с таким выражением, как будто его тянуло вдаль собственное глупое желание, а не настоятельная необходимость: «Да, дитя мое, здесь нам хорошо. Удовольствуемся тем, что мы имеем. Мы остаемся, право, остаемся». Она глубоко вздохнула, как бы избавившись от тяжелого кошмара, складка на лбу исчезла, и она, подняв глаза к небу, не без усилия произнесла: «Аминь».

Но у Косты было невесело на душе, когда он вернулся домой и подошел к письменному столу. Старая служанка, последовавшая за ним из Португалии, вошла вслед за ним в комнату и долго смотрела на него, качая головой. Это была маленькая кривобокая еврейка, седая, но с большими светлыми глазами; когда она разговаривала, то сильно жестикулировала руками. Она выросла и состарилась в Португалии и никак не могла привыкнуть к германскому климату.



У нее здесь появились ревматические боли в лице, и поэтому она кутала голову в несколько платков. Она была крайне чистоплотна, покупала все, что нужно для кухни, и умела с небольшими средствами отлично вести хозяйство. Она прожила уже более девяти лет в Шварцвальде, но почти вовсе не научилась немецкому языку, да и те немногие слова, которые знала, произносила так, что соседи принимали их за португальские и находили, что португальский язык имеет отдаленное сходство с немецким; но зато они тем лучше понимали ее жесты. Хотя она добровольно последовала за отцом доктора, но все же никогда не могла простить ему, что он привез ее с теплого юга в эту противную страну. Так как она носила еще на руках теперешнего своего господина, то многое позволяла себе в общении с ним. Она считала себя самым старым и разумным членом семейства, поэтому ей нужно было знать все, что в нем происходило, и несмотря на многочисленные платки, которыми была закутана ее голова, она отличалась необыкновенно тонким слухом.

Сегодня она опять подслушала его разговор с женой, и, когда он уселся на своем рабочем кресле и взял в руки гусиное перо, чтобы очинить его, она сперва оглянулась, чтобы удостовериться, что их никто не слышит, затем подошла к нему и сказала по-португальски:

– Не принимайтесь за работу, Лопец; сначала послушайте меня.

– Это необходимо? – ласково спросил он.

– Если вы хотите, – сказала она раздраженным тоном, – то я могу и уйти. Сидеть спокойно на месте, конечно, удобнее, чем странствовать.

– Я тебя не понимаю.

– Что же, вы считаете ваши книги сионскими стенами, что ли? Или вам опять захотелось познакомиться с монахами?

– Ай, ай, Рахиль, ты опять подслушала! Ступай-ка лучше на кухню.

– Сейчас, сейчас, но прежде я выскажусь. Вы притворяетесь, будто остаетесь здесь только ради госпожи. Но это неправда: вас удерживает здесь ваше писание. Я знаю жизнь, а вы и госпожа – вы точно дети. Вы тотчас же забываете всякие беды и верите, что счастье свалится на вас, точно манна небесная. Вы, конечно, ученый человек, и, когда вы возвратились из Коимбры<sup>7</sup> с докторским дипломом, все носились с вами, все твердили, что доктор Лопец – светоч еврейства. А теперь что? Ах, Боже мой, вы пишете, пишете – и что от того проку? Вы не получаете за это ни одного яйца, ни полушки. Поезжайте лучше в Голландию к вашему дяде. Он, наверное, снимет с вас свое проклятие, если вы поклонитесь ему. А то надолго ли хватит вам ваших денег?

Здесь доктор прервал говорливую старуху строгим «довольно», но та никак не желала утомониться и продолжала с жаром:

– Вы говорите – довольно. Но я достаточно долго молчала, и пусть у меня отсохнет язык, если я не выскажу все, что у меня на душе. Боже, Боже, дитя мое, неужели ты совсем спятил с ума! И чем только не набили эту бедную голову! Но того ты не вычитаешь в своих книгах, что если они узнают, что произошло в Опорто, как ты взял в жены христианскую девушку, родившуюся от крещеных родителей...

При этих словах ее доктор встал, положил свою руку на плечо служанки и сказал серьезным тоном:

– Тот, кто об этом говорит, может сделаться изменником – понимаешь ли, Рахиль, изменником! Я знаю, что ты желаешь нам добра, и поэтому повторяю тебе: жена моя здесь довольна, а опасность еще очень далека, значит, мы остаемся здесь. Не забудь и того, что с тех пор как Елизавета стала моей женой, евреи избегают меня, как проклятого, а христиане – как неверного. Те запирают передо мною двери, а эти желали бы отворить передо мною двери... тюрьмы. Сюда не заберется ни один португалец, а в Нидерландах я рискую встретить какого-нибудь

---

<sup>7</sup> Коимбра – город в Португалии; университет здесь основан в XVI в.

португальского монаха или опортского еврея, и если меня узнает кто-либо из них, то и она, и я, мы рискуем нашей жизнью. Итак, мы остаемся здесь, и ты знаешь почему. А теперь ступай в кухню.

Старуха повиновалась, хотя и крайне неохотно. Доктор же уже не садился более за свои рукописи, а долго ходил по комнате скорыми, лихорадочными шагами.

## VI

Настал канун Иванова дня – срок, когда Ульрих должен был явиться в монастырь. До сих пор патер Бенедикт, согласно своему обещанию, ничего не предпринимал против Косты, и никто не тревожил последнего. Однако доктором овладевала неведомая ему доселе тревога, и он уже не в состоянии был заниматься с прежней безмятежностью духа.

Кузнецу пришлось позаботиться об экипировке Ульриха. С этой целью он отправился с мальчиком и с туго набитым кошельком в ближайший город, так как ему не хотелось обращать на себя внимание сплетников родного городка покупкой нарядного костюма для сына.

Когда они явились к портному, у Ульриха глаза разбежались при виде богатых и блестящих костюмов. Так как отец предоставил ему самому выбрать себе платье, то выбор мальчика остановился на костюме, заказанном соседним рыцарем для своего сына, но почему-то не взятом у портного. Этот костюм был сплошь синий с одной стороны и желтый с другой. Но кузнец с досадой отодвинул в сторону этот пестрый наряд, потому что выбор его сына напомнил ему страсть к пестрым нарядам его жены, принесшей ему в приданое красно-зеленое платье. Адам выбрал два скромных, темных костюма. Они пришлись по фигуре стройному мальчику, и, когда тот вернулся в нем на постоялый двор и встал перед Адамом, последний глядел на него с каким-то благоговением; хозяин двора шепнул кузнецу, что ему давно не доводилось видеть такого красивого малого, а хозяйка, поставив на стол кружку пива, погладила Ульриха мокрой рукой по кудрям.

Вернувшись домой, кузнец позволил сыну навестить доктора в его новом костюме. Когда Руфь увидела обновку, она вскрикнула от радости и захлопала в ладоши, и затем стала ходить вокруг Ульриха и притрагиваться с детским любопытством к сукну куртки и к синим обшлагам, и снова, и снова радостно хлопать в ладоши.

Родители ее думали, что разлука с товарищем ее игр более огорчит девочку. Но она весело смеялась, когда друг прощался с ней, потому что она понимала вещи по-своему, не такими, какими они были в действительности, а такими, какими она представляла их себе. Она видела в нем уже не прежнего неуклюжего Ульриха, а сказочного принца, которого рисовало ей ее воображение; к тому же ведь он вернется к Рождеству, и вот тогда-то весело и хорошо будет играть с ним! В последнее время они почти не разлучались и постоянно придумывали то «слово», с помощью которого он надеялся получить тысячи хороших вещей для себя, а она – для него и для других.

Был субботний день – а в этот день старуха Рахиль обычно надевала на Руфь желтое шелковое платье, то самое, которое по воскресеньям надевала на нее Елизавета. Ульриху очень нравилось это платье, и каждый раз, как оно было на девочке, он был особенно ласков и услужлив с ней. Ей было тоже приятно, что прощание их совпало именно с субботним днем, и в то время, когда она гладила рукой его красивый кафтан, он гладил рукой ее шелковое платье. Они мало разговаривали между собой, потому что не привыкли много говорить в присутствии других. Зато доктор счел нужным дать Ульриху несколько полезных советов, мать Руфи крепко поцеловала его и повесила ему на шею в знак памяти золотое колечко с ярким камнем, а старуха Рахиль сунула ему на дорогу узелок со свежее испеченными лепешками.

В полдень Иванова дня он стоял со своим отцом у ворот Монастыря. Тут же стояли резвые лошади и конюхи, и привратник объявил им, что в монастыре граф Фролинген. Кузнец побледнел, крепко прижал к груди мальчика и попросил служку вызвать патера Бенедикта. Когда тот пришел, он передал ему своего сына и понуро поплелся домой.

До сих пор Ульрих сам хорошенько не знал, следует ли ему радоваться школе или бояться ее. Все приготовления к этому важному акту его жизни были приятны, а перспектива восседать на одной скамейке с сыновьями рыцарей и богатых горожан льстила его самолюбию. Но когда

он взглянул вслед удалявшемуся отцу, ему взгрустнулось, и на глазах его навернулись слезы. Монах заметил это, привлек его к себе, похлопал по плечу и сказал:

– Будь только умником, и ты увидишь, что у нас лучше, чем там, на «лобном месте».

Эти слова заставили мальчика задуматься, и он, не оглядываясь, последовал за патером Бенедиктом на монастырский двор.

По двору расхаживали монахи; некоторые из них приподнимали голову под белым капюшоном и смотрели на нового ученика. В самой глубине двора стояло школьное здание, а между ним и церковью был разбит сад, отделявшийся высокой стеной от большой дороги.

Патер Бенедикт отворил калитку и ввел Ульриха во двор, на котором играли мальчики. Они страшно шумели, но при появлении патера игры прекратились, и будущие товарищи Ульриха стали подталкивать друг друга и измерять его любопытными взорами. Патер подозвал к себе некоторых учеников и познакомил их с сыном кузнеца, затем еще раз погладил его по голове и ушел.

По случаю праздничного дня в школе не было классных занятий, и мальчики могли играть, сколько душе угодно. Поглазев немного на Ульриха и обменявшись с ним несколькими словами, они отошли от него и стали продолжать свои попытки перебросить камень через церковную крышу. Ульрих молча смотрел на них. Тут были ребята и большие, и маленькие, и белокурые, и черноволосые, но не было ни одного, с которым бы он не мог справиться. Это был первый вывод, к которому привел его беглый осмотр. Затем он стал присматриваться к игре. Сколько мальчики ни бросали камней, все они ударялись о черепицы крыши, и ни один не перелетал через нее. Чем более он присматривался к безуспешным попыткам мальчиков, тем решительнее становилась улыбка превосходства на его губах, тем сильнее билось его сердце. Он стал искать глазами подходящий камень. Наконец взор его упал на плоский камень с острыми краями; он живо поднял его, протиснулся в ряды метальщиков, далеко откинул назад туловище, собрал все свои силы, и камень красивыми изгибами взвился в воздух. Сорок сверкающих глаз следили за его полетом, и когда он исчез за церковной крышей, раздались радостные возгласы.

Только один долговязый черноволосый мальчик не вторил общему крику, и тогда как остальные приглашали Ульриха повторить свой бросок, он стал искать камень, чтобы потягаться с «новичком», что ему едва не удалось. Ульрих же бросил за первым камнем второй, и опять с тем же успехом. Тогда черноволосый Ксаверий тоже схватил новый камень, и все ученики до того увлеклись игрой, что ничего не видели и не слышали, пока не раздался низкий, но приятный голос, воскликнувший: «Перестаньте бросать камни, ребята. Храм Божий – не игрушка».

При этих словах младшие мальчики выронили из рук камни, которые они притащили для соревнующихся, потому что окликнувший их был не кто иной, как сам настоятель. Все мальчики поспешили к нему, чтобы поцеловать ему руку или рукав, и старый монах молча и ласково принимал эти знаки почтения, глядя на учеников своими черными глазами.

Серьезен в занятиях, весел в играх – таков был его девиз. Спустившийся вместе с ним в училищный сад граф Фролинген имел, напротив, вид человека, избравшего себе девиз: «Никогда не серьезен, всегда весел».

Граф отнюдь не помолодел с тех пор, как мать Ульриха бежала из городка, но глаза его смотрели весело, а красный цвет лица свидетельствовал, что он любил вино не менее женщин. Фролинген был одет в красивый наряд из белого и темно-синего атласа, воротник и рукава которого были обшиты тонкими кружевами, а шляпа его была украшена белым и желтым пером. Сын его, как две капли воды похожий на красавца-отца, стоял возле него, и граф фамильярно положил ему руку на плечо, как будто это был не его отпрыск, а добрый товарищ.

– Молодцы! – шепнул граф настоятелю. – Видели вы, как бросал камни вот тот белокурый? Из какого дома этот молодчик?

Настоятель пожал плечами и ответил, улыбаясь:

– Из кузницы на «лобном месте».

– Так это сын Адама? – воскликнул граф. – Черт побери, из-за его матери меня в то время знатно пробрали в исповедальне. Волосы и глаза у него красавицы Флоретты, во всем остальном он похож на отца. Я, господин настоятель, с вашего разрешения подзову его.

– Потом, потом, – ответил монах ласковым, но твердым голосом. – Прежде сообщите ребятам о том, что мы решили.

Граф почтительно поклонился и крепче прижал к себе своего сына, между тем как настоятель рукой поманил к себе учеников. Как только они все собрались, граф сказал:

– Вы только что простились с этим сорванцом. Что бы вы сказали, если бы я оставил его у вас до Рождества. Господин настоятель желает оставить его до тех пор, а вы, вы...

Но мальчики не дали ему закончить фразы, громко воскликнув:

– Пусть Филипп остается! Пусть остается граф Липс! Маленький белокурый мальчик прижался к молодому графу, другой целовал руку графа-отца, а два мальчика постарше взяли Филиппа под руки и старались оттащить его от отца в свой кружок. Настоятель ласково смотрел на эту сцену, а граф-отец даже прослезился, видя любовь товарищей к его сыну. Немного оправившись, он воскликнул:

– Липс остается, шельмецы, он остается, и господин настоятель позволил вам всем отправиться сегодня в охотничий замок и зажечь Иванов костер, а в печенье и вине не будет недостатка.

– Ура! Ура! Да здравствует граф! – закричали ученики, и шапки полетели в воздух. Ульрих поддался всеобщему увлечению и разом забыл все нарекания своего отца на этого красивого, веселого господина и все проклятия «висельника Маркса» против рыцарей и дворян.

Настоятель и его спутник удалились, а молодой граф Филипп воскликнул, как только все почувствовали себя свободными от надзора:

– Эй ты, новичок, ты перебросил камень через крышу! Каков молодец! Через крышу! Ну так вот что: кто разобьет первое окошко в башне, тот победитель.

Ульрих смутился и колебался совершить эту шалость, потому что боялся настоятеля и отца своего; но когда молодой граф протянул к нему сжатые в кулаки руки, сказав: «Тот, кому достанется красный кремешек, бросает первый», – он решительно указал на правую руку своего товарища, и так как в ней оказался красный камень, то он схватил камень, швырнул им в окно и метко попал в него; при громких радостных возгласах мальчиков несколько пестрых стекол в окне оказались разбитыми, и осколки их, звеня, полетели на свинцовую крышу, а оттуда скатились на траву. Граф Липс громко рассмеялся и только собрался последовать примеру Ульриха, как распахнулась деревянная калитка и среди играющих показался патер Иероним, самый строгий из всех монахов. Щеки его покраснели от гнева, уста произносили угрозы, и он, гневно озирая играющих, объявил, что предполагаемый праздник у графа не состоится, если не назовет себя сорванец, святотатственно разбивший церковное окно. Тогда выступил вперед молодой граф и смело сказал:

– Я это сделал, господин патер... нечаянно... простите.

– Ты? – спросил монах и прибавил более мягким и тихим голосом: – Все только шалости, глупости. Когда же ты наконец поумнеешь, граф Филипп? Но так как ты это сделал нечаянно, то я тебя на этот раз прощаю.

С этими словами патер ушел и, как только за ним затворилась калитка, Ульрих подошел к великодушному товарищу и сказал так тихо, что только тот мог его расслышать, но вместе с тем с выражением глубокой благодарности: «Я когда-нибудь отплачу тебе за это».

– Это все пустяки, – засмеялся молодой граф и положил руку на плечо ремесленника, – если бы стекло не задребезжало, я бы тоже бросил камень. Но успеем и завтра.

## VII

Наступила осень. Дорожки монастырского сада покрылись желтыми листьями, на церковной крыше собирались скворцы, чтобы лететь в теплые страны, и Ульрих охотно полетел бы, если бы мог, вместе с ними, куда бы то ни было. Он никак не мог свыкнуться ни с монастырем, ни со своими товарищами. Там, дома, на «лобном месте», он привык быть первым, а здесь это ему не удавалось, в особенности в школе, потому что отец не позволял доктору учить его латинскому языку, и он по этому предмету был последним учеником. Часто бедняга сидел поздно вечером, когда уже все спали, под лампой в передней, и долбил, и долбил, но все это не помогало, и он не поспевал за другими; а неприятное сознание, что все его старания тщетны, отравляло его существование и делало его раздражительным. К этому присоединились еще насмешки товарищей, прозвавших его конюхом за то, что он помогал патеру Бенедикту на конюшне. Это прозвище бесило его, и он не раз поколачивал зубоскалов.

В особенно дурных отношениях был он с черномазым Ксаверием, придумавшим это обидное прозвище. Отец этого мальчика был бургомистром соседнего городка, и ему разрешено было взять своего сына в отпуск на Михайлов день. Когда он возвратился в школу, то стал рассказывать разные разности о родителях Ульриха, хотя он знал о них только понаслышке и многое перепутал. Ульриху пришлось выслушать от товарищей многое, что заставляло его краснеть, но чему он не решался противоречить, потому что это вполне могло оказаться и правдой. Он очень хорошо знал, кто пустил все эти слухи, и стал относиться к Ксаверию с открытой враждой.

Граф Филипп не обращал ни малейшего внимания на все эти рассказы; он остался лучшим товарищем Ульриха и охотно помогал ему в уходе за лошадьми. Он также жадно слушал его рассказы о Руфи и часто уединялся вместе с Ульрихом, когда другие занимались играми; но именно этого-то и не могли простить новичку остальные ученики, которые завидовали дружбе его с Филиппом. Ксаверий никогда не любил графского сына, и ему удалось восстанавить многих против бывшего их любимца за то, что тот будто бы задирает нос перед ними, а еще более против Ульриха, который скорее конюх, чем ученик, а между тем позволяет себе обращаться с ними свысока.

От внимания монахов, заведовавших школой, не ускользнули враждебные отношения, установившиеся между новым учеником и его товарищами, и они стали задумчиво покачивать головами. Патер Бенедикт не умолчал перед ними о том, кто был прежде учителем Ульриха, и благочестивым монахам казалось, что брошенное евреем семя приносит весьма вредные плоды. В особенности выходил из себя патер Иероним, обучавший мальчиков Закону Божию, когда ему приходилось касаться зловредных идей, бродивших в голове нового ученика. Так однажды, вскоре по поступлении Ульриха в школу, он рассказывал в классе о смерти Спасителя и при этом обратился к мальчику с вопросом: «От чего освободят мир страдания и смерть Спасителя?» – на что тот ему ответил: «От притеснений богачей и знатных». В другой раз, когда речь шла о Святых Таинствах, Иероним спросил: «Чем христианин может достигнуть спасения?» – и Ульрих ответил: «Тем, что он не делает другому того, что было бы больно ему самому».

И подобные ответы дюжинами выходили из уст сына кузнеца. В одних из них он повторял слова «висельника Маркса», в других – доктора; а когда его спрашивали, от кого он это слышал, он всегда называл только последнего, так как не хотел, чтобы монахи знали о сношениях его с браконьером. Случалось, что за такие речи, которые он считал вполне справедливыми, Ульриха бранили и наказывали, и молодой ум его становился в тупик; тогда он обращался с горячей молитвой к Богородице, и странно, когда он глядел на образ ее, привезенный патером Лукой из Италии, ему постоянно вспоминалась его мать.

Настоятель монастыря, несмотря на все жалобы на Ульриха, продолжал считать его дурно воспитанным, но добрым, многообещающим ребенком, и в этом мнении его поддерживали живописец Лука, считавший Ульриха лучшим своим учеником, и учитель музыки; но и они возмущались тем, что еврей сбил этого богато одаренного от природы подростка с пути истины, и настаивали на том, чтобы настоятель, человек очень мягкий и терпимый, велел подвергнуть еврея допросу.

Наконец в ноябре бургомистр был приглашен в монастырь, и ему сообщили о лжеучениях, которыми еврей отравил душу христианского подростка. Мудрый настоятель желал избежать в эту эпоху борьбы против католической церкви всего, что могло бы разжечь страсти; но бургомистр объявил, что в виду всего слышанного он обязан принять строгие меры против доктора.

– Конечно, – прибавил он, – прежде нужно собрать достаточные доказательства против обвиняемого!

Он поручил патеру Иерониму записать богохульные фразы, которые Ульрих произнес при свидетелях, а затем перед рождественскими праздниками кузнец и его сын будут подвергнуты допросу. Настоятель, которому его научные занятия были дороже всего, был очень рад тому, что это дело передали в руки светских властей, и поручил патеру Иерониму быть бдительным.

За три недели до Рождества бургомистр опять прибыл в монастырь и пожелал видеть своего сына. Он нашел его лежавшим с подвязанным глазом в холодной спальне, и на его расспросы Ксаверий объявил, что его побил Ульрих. Эта жалоба окончательно вывела из себя бургомистра, и он не удовольствовался тем, что ему объявили, что Ульриху запрещено несколько недель играть с товарищами и что его лишили блюда за обедом и ужином. В сильном гневе он отправился к настоятелю. Оказалось, что накануне, в субботу, Ульрих после обеда отправился в сад один, без молодого графа, которого за какую-то шалость посадили в карцер. Там на него напали Ксаверий с дюжиной товарищей и сунули его головой в кучу снега, так что он едва не задохся. Заговорщики насовали ему за пазуху и за воротник комья снега и куски льда, сняли с него башмаки и набили их снегом, а Ксаверий вскочил к нему на спину и так долго держал его голову в снегу, что он с трудом мог дышать и уже думал, что наступил его последний час. Напрягши все свои силы, он сумел сбросить с себя своих мучителей и крепко ухватить Ксаверия. Так как все остальные разбежались, он стал срывать свою злобу на сыне городничего, сначала кулаками, а затем тяжелыми башмаками, поднятыми им с земли. Другие мальчики издали забрасывали его комьями снега, и это еще более усиливало его ярость. Когда Ксаверий не мог уже шевелиться, Ульрих вскочил с раскрасневшимися щеками и с поднятыми кулаками и воскликнул:

– Ну, только подождите, негодяи! Доктор Коста знает такое слово, с помощью которого он вас всех обратит в жаб и крыс.

Ксаверий запомнил эти слова и передал их своему отцу, присовокупив кое-что еще от себя. Настоятель спокойно выслушал жалобу бургомистра, справедливо рассудив, что раздраженный отец не может считаться объективным свидетелем. Однако он все же счел нужным позвать Ульриха и допросить его. Оказалось, что еврей действительно говорил своей дочери о каком-то волшебном слове и что Ульрих пригрозил им своим товарищам. Решено было произвести дознание. Ульриха снова отправили в карцер, где его уже ждали ломоть хлеба и жидкий суп; но он к ним не прикоснулся. Еда не шла ему на ум; он не мог ни работать, ни сидеть на месте.

Вдруг ближе к вечеру раздался звук колокола, созывавший всех обитателей монастыря, и тотчас же после того под самым окном карцера зазвенели бубенцы, Ульрих осторожно выглянул и увидел, что настоятель и патер Иероним разговаривают с бургомистром, собиравшимся сесть в свои сани. Они говорили о докторе, и он узнал, что недавно собраны были все ученики

для допроса. Он до того испугался за доктора, что на его лбу выступил холодный пот. Тут он понял, что смешал в одно слова доктора с угрозами браконьера и эти последние приписал отцу Руфи.

Он оказался изменником, лжецом, жалким негодяем. Ульрих хотел бежать к настоятелю и во всем сознаться ему, но у него не хватило на то духу. Так прошло время до всенощной. В церкви он пытался молиться, не за себя, а за доктора, но это ему не удавалось, так как он не мог думать ни о чем ином, как о предстоящем судилище. Стоя на коленях и закрыв лицо руками, он мысленно видел еврея в цепях, а себя самого в ратуше на допросе.

Наконец всенощная кончилась. Ульрих встал и увидел прямо перед собою большое распятие и лик Спасителя, который в прежние времена, со склоненной набок головой, взирал на него так мягко и кротко, сегодня, казалось ему, смотрел печально и укоризненно.

В дортуаре<sup>8</sup> товарищи сторонились от него, как от зачумленного, но он едва замечал это. Сквозь маленькие окна ярко светила луна и падал отблеск снега, но ему хотелось быть в темноте, и он зарылся головой в подушку.

Вот пробило десять часов. Его сердце билось все сильнее и боязливее, но вдруг ему показалось, что оно перестало биться: тихий голос назвал его по имени. «Ульрих» – раздалось еще раз, и молодой граф, спавший подле него, приподнялся на постели и наклонился к нему. Ульрих рассказал ему о пресловутом «слове», и они, как некогда с Руфью, много и долго рассуждали о том, чего каждый из них пожелал бы себе с помощью этого слова. Теперь Филипп шепнул ему:

– Они собираются что-то сделать с доктором. Бургомистр и настоятель так строго допрашивали нас, как будто вопрос шел о жизни и смерти. Я благоразумно умолчал обо всем, что знал про это слово, но негодяй Ксаверий повернул дело так, будто ты знаешь это волшебное слово; а вечером он подошел ко мне и сообщил по секрету, что отец его завтра утром велит схватить еврея и затем подвергнуть его пытке. Теперь вопрос идет только о том, сжечь ли его или повесить; но во всяком случае отец Ксаверия сказал, что так или иначе доктор будет казнен, и этот черномазый негодяй ужасно этому рад.

– Эй, вы! Тише там! – раздался заспанный голос дежурного монаха, и оба собеседника мигом юркнули под одеяла и не шевелились.

Молодой граф вскоре заснул, но Ульрих, понятно, не мог спать. Он зарылся головой в подушки, и ему казалось, будто он видит перед собою умное кроткое лицо доктора, всегда относившегося к нему с такою любовью, и будто оно смотрит на него с выражением упрека; а затем ему представлялась немая мать Руфи, по-прежнему ласково гладившая его по волосам и по щеке; Руфь также явилась ему, но на ней было не желтое шелковое платье, а какие-то нищенские лохмотья, и она плакала, скрывая лицо в коленях матери.

Ульрих глубоко вздохнул. Часы пробили одиннадцать. Он приподнялся и стал прислушиваться: все спало. Он потихоньку оделся, взял башмаки в руку и попробовал отворить окно в головах его кровати. Днем оно было отворено, но вследствие мороза теперь не отворялось. Ульрих уперся ногой в стену и стал изо всех сил тянуть раму к себе; наконец она поддавалась, и окно распахнулось с треском и звоном разбитых стекол. К счастью, дежурный спал так крепко, что только во сне стал бранить шалунов-мальчишек.

Затаив дыхание, Ульрих несколько мгновений стоял недвижимо; затем он вскочил на подоконник и выглянул из окошка. Дортуар был на втором этаже, и окна его выходили не во двор, а в поле. К счастью, подле стены намело высокий сугроб, и это придало Ульриху бодрости. Он перекрестился, прошептал: «Господи, помилуй», – зажмурил глаза и прыгнул. У него шумело в ушах, образ еврея слился в его уме с образом его матери, и затем он как будто окунулся в ледяное море, и ему казалось, что и тело, и душа его разом ооченели. Но через

---

<sup>8</sup> Дортуар (фр. *dortoir*) – общая спальня.



несколько мгновений он пришел в себя, выбрался из сугроба, надел башмаки и побежал, точно за ним гналась стая волков, вниз с горы, через ущелье и вдоль реки к городу и к «лобному месту».

## VIII

Бургомистр на своих лошадях не скорее добрался до города, чем Ульрих пешком. Когда Адам, разбуженный стуком, узнал голос сына, он тотчас же понял, в чем дело. Он молча слушал его рассказ, вынимая в то же время торопливо, но обдуманно, спрятанное в подполье добро, набивая мешок всем необходимым, затыкая за пояс самый тяжелый молот и заливая огонь в горне. Затем он запер дверь своего дома и послал Ульриха к «висельнику Марксу», с которым он заранее кое о чем условился, так как еще накануне к нему приходил фокусник Каспар, знавший через своих дочерей больше, чем всякий другой, и сообщивший ему, что против Косты что-то затевается.

Адам застал доктора еще не спящим, а сидящим за работой. Он ожидал того, что ему сообщили, и тотчас же согласился, что необходимо бежать. Ни словом жалобы, ни беспокойным движением он не высказал того, что происходило в его душе. Адам едва не расплакался, когда доктор стал будить жену и дочь. Но боязливые стоны испуганной немой женщины и громкий плач ребенка вскоре заглушены были воплями старой Рахили, которая влетела в комнату еще более закутанная, чем когда-либо, и стала хватать все, что попадало ей под руку, проклиная кого-то и что-то на непонятном языке. Она притащила большой сундук и стала сваливать туда в кучу и нужное, и ненужное: и подсвечники, и посуду, и шахматы, и даже куклу Руфи с разломанной головой.

В начале третьего часа ночи доктор был готов к отъезду. Перед дверьми стояли сани Маркса, запряженные его лошадкой. Это было во всех отношениях замечательное животное: ростом не более теленка, худощавая, как коза, местами мохнатая, местами совсем безволосая.

Адам помог усадить в сани немую, доктор посадил к ней на колени Руфь, Ульрих отвечал на любопытные расспросы девочки, что она все узнает позже, а старуха ни за что не хотела расстаться со своим сундуком, и ее лишь с трудом удалось усадить в сани.

– Знаешь туда, за гору, в долину Рейна, все равно куда, – шепнул доктор браконьеру.

Маркс стал понукать свою лошаденку и сказал, обращаясь не к Косте, а к кузнецу, который, по его мнению, должен был лучше понять его, чем книжник-доктор:

– Следует сделать крюк. Нельзя ехать прямо в ущелье. Гончие графа выследят нас, если их спустят со своры. Мы сначала выедем на большую дорогу и свернем у Лаутенского кабака. Завтра базарный день; окрестные жители рано утром отправятся из деревень в город, и собакам ни за что не взять нашего следа. Кабы только пошел снег!

Когда они поравнялись с кузницей, доктор протянул кузнецу руку и сказал:

– Прощайте, мой друг!

– Мы пойдем с вами, если вы ничего против того не имеете, – ответил Адам.

– Подумайте... – начал было доктор, но кузнец прервал его словами:

– Я уже все обдумал. Чему быть, того не миновать. Ульрих, возьми-ка у доктора с плеч мешок.

Долгое время все шли молча. Ночь выдалась морозная и светлая. Мужчины бесшумно ступали по мягкому снегу, и не было слышно ничего, кроме скрипа полозьев, да временами раздавалось всхлипывание немой или громкое слово, вылетающее из уст говорившей с собой старухи. Руфь уснула на коленях матери и дышала глубоко.

У Лаутенского кабака узкая дорога сворачивала в лес и вела в горы. Когда подъем стал круче, а снег доходил уже до колен, мужчины стали помогать лошаденке тащить сани. Бедное животное отчаянно мотало головой и сильно кашляло. Маркс указал на него головой и сказал: «Ведь ей уже двадцать лет, и к тому же она опоена». Лошадка кивала головой, как бы желая сказать: «Да, тяжело жить на свете. Должно быть, это моя последняя поездка».

Согнувшиеся под тяжестью снега ветви сосен низко свешивались над головой; в просветах меж ними виднелось тяжелое, свинцовое небо; обломки скал, лежавшие близ дороги, были одеты точно в белые саваны; ручей замерз с краев и только в середине его холодная вода бежала к долине среди ледяной оправы. Пока светила луна, снег и лед своим блеском помогали путникам находить дорогу; но когда она зашла, путники ничего не видели, кроме монотонной белизны снега. «Ах, только бы пошел снег», – повторял углежог.

Чем выше они поднимались, тем глубже становился снег и тем затруднительнее было для путников ступать по нему. По временам кузнец, видя усталость доктора, негромко произносил «стой», и тогда Коста подходил к саням и спрашивал: «Ну, что, как можете?» – или же успокаивал сидящих в них словами: «Ничего, доберемся». Когда в лесу раздавался лай лисиц или завывание волка, или когда сова поднималась с верхушки сосны и осыпала путников снегом, старуха вскрикивала, да и другие вздрагивали; один только Маркс продолжал шагать спокойно и невозмутимо возле массивной головы своей лошаденки, потому что ему были хорошо известны все эти лесные звуки.

К утру мороз усилился. Руфь проснулась и стала плакать, а ее отец спросил, едва переводя дух: «Скоро ли привал?»

– А вот сейчас за пригорком, не далее десяти полетов стрелы, – ответил Маркс.

– Станьте на сани, доктор, – сказал кузнец, – а мы будем подталкивать их.

Но Коста отрицательно качнул головой, указал на усталую лошаденку и продолжал плестись пешком.

Браконьер, очевидно, пускал свои стрелы из какого-то особого лука, потому что прошло уже более получаса, а вершины пригорка все еще не было видно. Между тем светало, и угольщик с беспокойством стал то поднимать голову кверху, то поворачивал ее по сторонам. Небо было облачно, сверху струился тусклый свет, и в воздухе стояла мгла. Снег по-прежнему слепил, но он уже не блестел и не переливался, а лежал и спереди, и сзади, и кругом матово-белой пеленой.

Ульрих шел возле саней и помогал тащить их. Руфь, слыша, как он тяжело дышит, гладила своей ручкой его руку, лежавшую на кузове саней, и это как будто облегчало его, и он улыбался девочке.

Когда они, наконец, взобрались на гребень горы и снова остановились, Ульрих заметил, что углежог, как гончая, повел носом, нюхая воздух; он спросил его:

– Что такое, Маркс?

Браконьер ослабиллся и ответил:

– Сейчас пойдет снег. Я чую его в воздухе. – Они стали спускаться, и угольщик добавил: «Там, внизу, мы найдем у Герга приют и хороший огонь. Слышите, сударыни?»

Эти слова всех приободрили. Действительно, пора было добраться до привала, потому что большие снежные хлопья стали кружиться в воздухе, и поднявшийся в то же время ветер нес их прямо в лицо путникам.

– Вот она! – воскликнул Ульрих и указал пальцем на занесенную снегом избушку, стоявшую прямо перед ними на полянке, у опушки леса.

Все лица оживились, только, Маркс задумчиво качал головой и бормотал сквозь зубы:

– Ни дыму, ни собачьего лая! Изба пуста. Герг, видно, ушел. А в Троицын день, когда ребята уже отправились сплавлять лес, он был еще здесь.

Однако углежог, очевидно, ошибался в счете времени, потому что весь наружный вид избушки, провалившаяся крыша, сквозь которую намело изрядно снегу, и совершенно сгнившие оконные рамы ясно доказывали, что жилище это уже не первую зиму стоит необитаемым.

Рахиль снова запричитала при виде этого обещанного ей места отдохновения. Но когда мужчины стресли с пола снег и навалили еловых сучьев на отверстия в крыше, и когда Адам развел огонь в печке и устроил для женщин сиденья с помощью принесенных из саней подушек

и полости, она немного успокоилась и сама, без чьего-либо приказанья, поплелась к очагу и поставила на огонь горшок, наполненный снегом.

Маркс объявил, что лошадке нужно часа два отдыха; затем можно будет пуститься в дальнейший путь и до наступления сумерек добраться до мельницы в ущелье. Там их ожидает радушный прием, так как мельник Якоб вместе с ним сражался в рядах бунтовавших крестьян.

Вода от растаявшего снега кипела в горшке на очаге, доктор и жена его дремали, Ульрих и Руфь держали дрова, которые наколот кузнец, над огнем, чтобы просушить их, как вдруг на дворе возле избы раздался раздирающий душу вопль. Коста быстро направился к двери, дети последовали за ним, а старуха, плача, закрыла лицо платком.

Возле саней на снегу лежала лошадка Никель, вытянув вздрагивающие ноги. Перед ней стоял на коленях Маркс, приподняв голову бедного животного и кривым ртом своим дул ей в ноздри. Но лошадка оскалила желтые зубы, высунула синеватый язык, как бы желая лизнуть его, и затем голова ее свесилась, глаза выпучились, ноги перестали вздрагивать, и дыхание Никель прервалось; распряженные сани поднимали оглобли кверху, подобно клюву голодного, покинутого птенчика.

Итак, выбраться отсюда не было возможности. Женщины, дрожа, сидели в жалкой избушке, и их пробирало холодом; Руфь горько плакала о бедной лошадке, а Маркс в каком-то отупении сидел подле коченеющего трупа своего четвероногого друга; он ни о чем не думал, и менее всего о снеге, делавшем его белее мельника, у которого он надеялся переночевать в этот день. Доктор глядел в отчаянии на свою немую жену, которая как-то съежилась и, сложив руки, с жаром молилась; кузнец схватился рукой за лоб и думал о том, что теперь делать, но ничего не мог придумать, хотя от напряженных размышлений у него разболелась голова; издали доносился вой голодного волка, а пара черных воронов уселась на покрытый снегом сук и жадно смотрела на лежавший в снегу труп лошади.

Тем временем настоятель сидел в своем хорошо натопленном рабочем кабинете, наполненном ароматным дымом табака, и смотрел то на ярко пылавшие в мраморном камине дрова, то на бургомистра, который привез ему странную весть. Белый шерстяной халат обрисовывал стройную фигуру патера. Подле него на столе лежали две рукописи любимой его книги идиллий Феокрита<sup>9</sup>, сравнением текста которых он только что занимался. В свободное от своих занятий по монастырю время он переводил их латинскими стихами, находя существовавший уже перевод Эобана Хесса<sup>10</sup> крайне неудовлетворительным.

У камина стоял бургомистр. Это был человек среднего роста, приземистый, с большой головой и грубым, точно вырубленным топором, но выразительным лицом. Он считался одним из умнейших людей в округе и говорил плавно и складно. В углу комнаты стоял его секретарь, человек с лысой головой и искривленными, наподобие серпа, ногами. Он держал под мышкой толстый портфель с бумагами и, казалось, глазами ловил малейшие жесты своего начальника.

– Так, значит, он родом из Португалии и проживал здесь под чужим именем, – так резюмировал настоятель все слышанное.

– Его фамилия Лопец, а не Коста, – ответил его собеседник, – как видно из этих бумаг. Подай-ка их сюда, Гутбуб. Вон там, в коричневой обложке.

Бургомистр передал настоятелю пергамент; тот, пробежав его, сказал:

---

<sup>9</sup> Феокрит – эллинистический поэт первой половины III века до н. э.; основоположник жанра идиллии, в которой воспевались простота и естественность невзыскательного быта на лоне природы. Сохранились 30 идиллий Феокрита, послуживших основой для появления в дальнейшем буколической (от греч. *bukolikos* – пастушеский) поэзии.

<sup>10</sup> Хесс Хеллий Эобан (1488–1540) – немецкий гуманист, один из представителей поэзии на латинском языке. Кроме идиллий Феокрита перевел на латынь «Илиаду» Гомера и псалмы.

– Этот еврей – более замечательная личность, чем мы думали. Я знаю, члены Коимбрского университета не особенно расточительны на такие похвалы. Хорошенько берегите книги доктора, господин Конрад. Завтра я их рассмотрю.

– Они к вашим услугам. Эти бумаги...

– Их не нужно.

– И без них достаточно улики, – кивнул бургомистр. – Мой помощник, человек, как вам известно, не ученый, но опытный, вполне разделяет мое мнение. – Затем он продолжал патетически: – Только тот, кто имеет основание опасаться закона, меняет свое имя, и тот, кто чувствует себя виноватым, скрывается от суда.

Тонкая улыбка, не чуждая горечи, появилась на устах настоятеля, потому что ему пришли на ум допрос и камера пыток в ратуше, а теперь он видел в докторе уже не еврея, а гуманиста и ученого. Его взгляд опять упал на диплом; и в то время как его собеседник продолжал свои объяснения, он вытянулся в кресле и задумчиво смотрел в пол. Затем он слегка прикоснулся концами пальцев к своему высокому лбу и сказал, довольно невежливо прервав расходившегося говоруна:

– Патер Ансельм прибыл к нам пять лет тому назад из Опорто<sup>11</sup>; он знал там всех ученых. Гутбуб, ступай и позови ко мне нашего библиотекаря.

Вскоре явился библиотекарь. Известие о бегстве Ульриха и об исчезновении еврея быстро распространилось по монастырю. Все сообщали друг другу эту новость – и на хорах, и в школе, и в кухне, и на конюшне. Один только патер Ансельм ничего не слышал об этом, несмотря на то, что с раннего утра занимался в библиотеке и там, в его присутствии, немало толковали об этом необыкновенном происшествии.

Достаточно было бросить беглый взгляд на старика-библиотекаря, чтобы убедиться, что он не интересуется на свете ничем, кроме своих рукописей и книг. Его длинная узкая голова была посажена на тонкую шею, которая наполовину скрывалась между приподнятых плеч. Его пепельно-серого цвета лицо было изрыто оспой и изборождено морщинами, но большие умные глаза придавали этому некрасивому лицу приятное и тонкое выражение.

Сначала он безучастно слушал рассказ настоятеля; но когда тот назвал имя еврея, и он кинул на диплом такой беглый взгляд, как будто обладал даром схватывать содержание десяти строк одним взором, то с живостью воскликнул:

– Как, здесь был Лопец, знаменитый доктор Лопец! И мы этого не знали и не обратились к его совету! Где он? Что с ним хотят делать?

Когда он узнал, что еврей бежал, и настоятель попросил его сообщить все, что ему известно об этом человеке, библиотекарь начал печальным голосом:

– Да, конечно, человек этот великий грешник перед Господом. Вам, без сомнения, известна его вина?

– Мы все знаем, – поспешил вставить свое слово бургомистр, многозначительно взглянув на настоятеля; и продолжал, как бы искренне сожалея о виновном, с притворным состраданием: – И каким же это образом такой ученый человек мог совершить столь тяжкое преступление?

Настоятелю было противно лукавство чиновника, но Ансельм уже проболтался, и так как ему самому хотелось узнать подробности из жизни доктора, то он предложил библиотекарю сообщить все, что ему известно о докторе Лопеце. И библиотекарь со свойственным ему сухим, деловым тоном, но с некоторой душевной теплотой, которой настоятель даже и не подозревал в нем, начал перечислять ученые заслуги доктора и выдающиеся свойства его ума. Он сообщил, что отец доктора был хотя и еврей, но в некотором роде знатный человек, соединенный тесными узами со многими благородными семействами, так как воцарение короля Эмману-

---

<sup>11</sup> Опорто (ныне Порту) – город и порт в Португалии.

ила<sup>12</sup>, который стал преследовать евреев; они пользовались в Португалии большим почетом, и в стране не делалось никакого различия между евреями и христианами. При первом изгнании их из Португалии некоторым привилегированным евреям было дозволено остаться в стране, в том числе и Родриго Косте, отцу Лопеца, бывшему лейб-медиком короля и пользовавшемуся большим его уважением. Сам Лопец с отличием окончил курс в Коимбрском университете, но посвятил себя не медицине, как его отец, а философии и филологии.

– При этом, – продолжал патер Ансельм своим медленным, размеренным тоном, повторяя конец каждой фразы, как будто он сличал две рукописи, – при этом он не имел в виду добывание средств к жизни, потому что отец его оставил ему значительное состояние. У Лопеца было много друзей, очень много, так как все друзья науки были и его друзьями. И среди христиан он имел немало приятелей. В нашей среде – я разумею книжный мир – он также пользовался большим уважением. Я сам ему многим обязан; он мне неоднократно помогал при отыскании редких книг и истолковании темных мест. Я не любопытен – или, быть может, вы думаете, что я любопытен? Нет, я не любопытен, но все же мне захотелось кое-что узнать о нем. И вот я стал расспрашивать и узнал про него дурные, да, очень дурные вести. Во всем виновата женщина, – ну, конечно, женщина! В Оporto жил купец из Фландрии, христианин. Отец доктора Лопеца был очень дружен с ним. Впрочем, вам все это, вероятно, хорошо известно?

– Да, конечно, известно! – воскликнул бургомистр. – Но все равно, рассказывайте дальше!

– Итак, старый доктор Родриго был домашним врачом в семействе нидерландца и присутствовал при смерти старого купца. Последний оставил после себя ребенка, девушку. У нее не было в Оporto никого из родных. Они – то есть молодые доктора и магистры, видевшие ее, – говорили, что она красива, очень красива. Но доктор Родриго принял участие в судьбе девушки не из-за ее красоты, а потому что Елизавета была сирота и одинока.

– И воспитал ее еврейкой? – прервал его бургомистр, бросая на него пытливый взгляд.

– Еврейкой?! – воскликнул патер в волнении. – Кто это говорит? Ничуть. Вдова-христианка воспитала ее в загородном доме доктора, в загородном доме, а не в городском. Там молодой доктор, вернувшись из Коимбры, не раз видел ее, не раз, даже чаще, чем следовало бы! Дьявол вмешался в дело – и они слюбились. Я даже знаю, как сыграна была их свадьба: в присутствии трех свидетелей, одного еврея и двух христиан, молодые поклялись друг другу в вечной верности и обменялись кольцами, такими же кольцами, как при христианской свадьбе. При этом Лопец остался евреем, а Елизавета христианкой. Он собирался перебраться с нею в Нидерланды, но один из свидетелей донес на них священной инквизиции. Та, понятно, тотчас же вмешалась в это дело – ведь там она вмешивается буквально во все, а в данном случае вмешательство было даже необходимо, его даже требовал христианский долг. Молодую женщину схватили на улице, заключили в тюрьму, а во время пытки она лишилась речи, почти совершенно лишилась. Старика доктора и его сына предупредили вовремя, и они успели скрыться. Камергеру де Са, ее дяде – или он приходился ей двоюродным братом? – удалось вызволить Елизавету из тюрьмы, и затем, мне кажется, затем они все трое бежали во Францию – отец, сын и жена последнего. Но нет же, говорят, что они проживают здесь.

– Ну, что я вам говорил? – торжествующе провозгласил бургомистр, бросив на настоятеля многозначительный взгляд. – Такой старый воробей, как я, чует преступление, как лягушка дождь! Вот теперь я могу сказать, что мы имеем против доктора Косты достаточно улики и что он подлежит высшей мере наказания. Мы на нем покажем пример, мы дадим себя знать. Благодарю вас, отец Ансельм, вы сообщили мне нечто весьма важное.

---

<sup>12</sup> Эммануил Великий (1469–1521) – король Португалии с 1495 года; изгнал из своих владений всех мавров и евреев, отказавшихся принять христианскую веру.

– Так вы ничего не знали? – заикаясь, проговорил бедный библиотекарь, и шея его вытянулась, и жила на лбу его налилась кровью.

– Нет, не знали, Ансельм, – сказал настоятель. – Но вы обязаны были говорить, точно так же, как я обязан был выслушать вас. Из соборной приходите ко мне, мне нужно потолковать с вами.

Библиотекарь молча и гордо поклонился и пошел, не удостоив бургомистра ни единым взглядом, но не в библиотеку, а в свою келью. Там он долго ходил взад и вперед и бормотал имя Лопец, ударяя себя рукою по губам, и прижимал кулак ко лбу, и наконец опустился на колени перед распятием... чтобы молиться за еврея.

Как только монах вышел из комнаты, бургомистр удовлетворенно воскликнул:

– Какая неожиданная помощь! Какая масса улик! Начнем с самых незначительных. Он никогда не носил установленного для евреев знака и пользовался услугами христиан, потому что дочери Каспара не раз были приглашаемы в его дом для шитья. В его доме нашли шпагу, а еврей, который носит оружие, не нуждается в покровительстве властей, так как он прибегает к самообороне. Наконец, мы узнали, что Лопец проживал под чужим именем. Но это все мелочи; а вот существенное. Оно распадается на четыре пункта: он занимался наговорами посредством известных ему одному слов; он старался свратить христианского мальчика; он женился на христианке, и, что главное, он воспитал в еврейской вере девочку, родившуюся от христианки, то есть от жены.

– Он воспитал в еврейской вере свою дочь? Вы это наверно знаете? – спросил настоятель.

– Достаточно того, что девочка носит еврейское имя Руфь. То, на что я позволил себе указать, – все вполне доказанные преступления, за которые полагается смертная казнь. Вы очень ученый человек, господин настоятель, но и я кое-чему учился. Еще император Констанций<sup>13</sup> ввел смертную казнь за браки между евреями и христианами. Я могу указать вам это место.

Настоятель очень хорошо понимал, что обвинение, возводимое на еврея, действительно такого рода, что не могло быть и речи о пощаде, он сознавал, что следует принять строгие меры, но шел на них крайне неохотно, и его явно раздражало неуместное рвение собеседника, относившегося к почтенному ученому с каким-то злорадством. Поэтому он встал и сказал с явной холодностью:

– Исполняйте свой долг.

– На меня можете положиться, – радостно сказал бургомистр. – Завтра или, самое позднее, послезавтра мы Косту заключим в тюрьму, его и все его семейство! Мой секретарь надежный малый. Ребенка мы, конечно, не тронем, но его следует отнять у евреев и воспитать в христианской вере. Мы должны были бы сделать это даже в том случае, если бы и отец, и мать были евреи. Вам, конечно, известен фрейбургский случай. Сам великий Ульрих Цазиус решил, что дети евреев могут и должны быть крещены и без ведома и согласия их отца. Я прошу вас прислать в субботу патера Ансельма в ратушу в качестве свидетеля.

– Хорошо, хорошо, – сказал настоятель; но он выказывал при этом так мало искренности, что чиновник невольно удивился. – Согласен, – продолжал он, – арестуйте еврея, но только не убивайте. И еще одно: я желаю видеть доктора и поговорить с ним, прежде чем вы начнете пытаться его.

– Послезавтра я его доставлю к вам.

– Ах нюрнбергцы, нюрнбергцы! – пробормотал настоятель и пожал плечами.

– Что вы этим хотите сказать?

– Я хочу сказать этим, что эти умные люди никого не вешают, не схвативши его.

---

<sup>13</sup> Вероятно, имеется в виду Флавий Юлий Констанций II (317–361) – римский император с 337 года, который в период своего правления активно вмешивался в деятельность церкви.

Бургомистр расценил эти слова как поощрение и пожелание выказать побольше усердия при поимке еврея и поэтому ответил самонадеянно:

– Он в наших руках, достопочтенный отец, он в наших руках! Если они и бежали, то завязнут в снегу, как в мышеловке. Я велел бабам разыскивать следы, я созвал ваших и наших лесников и попросил фролингенского графа преследовать их, беглецов. Он обязан оказать нам помощь. Уж он-то со своими охотниками, доезжачими и гончими наверняка выследит дичь. Благословите, святой отец, мне не резон терять времени.

Настоятель остался один. Он задумчиво стал смотреть в догоравший огонь камина и размышлять обо всем, что только что слышал. Ему представлялся скромный ученый муж, проводивший среди серьезных научных занятий долгие годы, и при этом святым отцом невольно овладевало легкое чувство зависти, потому что ему самому редко удавалось предаваться спокойно своим любимым научным занятиям, в которых он находил полное удовлетворение. Он досадовал сам на себя за то, что не мог относиться со злобой к человеку, достойному смертной казни, и сам себя обвинял в излишней мягкости. Но затем ему приходило на ум, что еврея склонила к греху любовь и что тому, кто много любил, многое прощается. В то же время он радовался, что ему вскоре доведется познакомиться лично с ученым коимбрским доктором. Никогда еще только что ушедший от него чиновник не казался ему таким отвратительным, как сегодня. И когда настоятель вспомнил о том, как этот хитрый человек в его присутствии обвел бедного патера Ансельма вокруг пальца, ему показалось, что он сам совершил недостойный поступок. И все же, и все же – еврея невозможно было спасти, и он заслужил то, что ему угрожало.



## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.